

829403

В. Степанов



У самой
железной
дороги



НОВИНКИ СОВРЕМЕННОГО

Владимир Степанов

У самой
железной
дороги

Повести и рассказы

«Современник»
Москва
1976

Степанов В. С.

С79 У самой железной дороги. Повести и рассказы. М., «Современник», 1976.

223 с. (Новинки «Современника»).

Владимир Степанов родился в 1937 году, в деревне Машино Калининской области. Работал в колхозе, служил в армии, окончил Ленинградский университет.

...Уходит от центра России на север железная дорога. Петляют рядом с нею, порой пересекая ее, бесчисленные шоссе, большаки, проселки и тропки. Стоят у дорог города и деревушки. Живут в них наши современники.

О них и пишет писатель, собкор газеты «Правда» по Вологодской области, В. Степанов. Повести и рассказы, вошедшие в сборник «У самой железной дороги», публиковались в журнале «Север», включались в книги писателя, выпущенные Северо-Западным издательством.

С $\frac{70302-153}{M106(03)-76}$ 56—76

РР

Повести

Под одной крышей

1

Зося Березкин впервые задумался на семнадцатом году. Жизнь повернула, иначе не стал бы, потому что думать он еще толком не умел, а оттого и не любил. У него получалось так: что захотел — то и сделал. Рассуждать было вроде незачем. Зосе бывало радостно, бывало и грустно. Бывал он и злым. Вот и все. Правда, изредка ему казалось, что он думает. Но это случалось в тоскливые минуты, когда в груди ныло и смутно мечталось о лучшем, неясном пока, непонятном.

А чаще всего Зосю одолевало беспричинное и буйное веселье молодости. Соседи сначала говорили — озорство, потом хулиганство...

Не материнские, не отцовские руки были первым его воспоминанием на этой земле. Первым впечатком в памяти остался город, и он, Зося, в этом городе. Город представлялся непостижимым: бесконечно громоздились в нем домищи, и все разные — иной от земли выложен из белого камня, а выше, где окна, черпели бревна или посверкивал крашеный тес. И деревья вдоль улиц — шумливые, пыльные, забирающие солнце.

Дома, деревья, телеграфные столбы, огороды, скамеечки — все это казалось Зосе сплетенным в единую прочную конструкцию.

Лишь много лет спустя Зося узнал, что непостижимый этот город — крохотный городишко, районный центр. К тому времени родной дом уже не был успокаивающе уютным, где прежде так сладко спалось после беготни. Иронически стал воспринимать Зося свое жилище. С виду то дом — грузный, внушительный. А пазы меж бревен замазаны серой глиной, похожей на ил. Случалось, глина от-

валивалась, обнажая трухлые щели. В доме вечно гуляли сквозняки. Прохожие глядели на углы с выщербленными торцами, на облупившиеся наличники, подбитые куделей, на залатанную чем попало крышу, поросшую сырым зеленым мхом — и, отводя глаза, вздыхали. Зосе становилось стыдно за свой дом, и он злился на сердобольных прохожих, которые и самого Зосю норовили обойти стороной, тоже со вздохом. Видно, уж очень неухоженным и подозрительным казался мальчишка: глядит волчонком, ноги и руки в цыпках, одежонка драная.

Настоящего хозяина в доме не было. Зося не помнил отца, хотя знал, что он где-то есть, и часто пытался представить, какой он. Мать, постоянно простуженная и сердитая, раз десять на дню поминала отца недобрыми словами. Из-за этой ругани и сквозняков не любил Зося сидеть дома. На улице было раздольно. Тут он забывал и беглого отца, и унылое лицо матери.

В реке Матренихе, небыстрой и неглубокой, разделяющей город на две части и уходящей далеко в луга к деревушкам, водились пескари и черные раки. Бывало, Зося тем и кормился весь день, что пек на тепiline рыбешку, голубиные и галочки яйца. Если попадалась ему рачиха с икрой, он, не вылезая из воды, отгибал у нее хвост и скусывал кисловатый шматок. И только после этого швырял рачиху на берег, где ее подбирала мелкая ребятня, нанятая Зосей носить улов и штаны, пока бродит он под берегами и голыми руками щупает в норах налимят и раков.

В школе и на своей улице Зося считался первым озорником и кудесником, то есть выдумщиком. Не боялся он ничего. Сам, без подсказки и без особой грусти, понял, что заступиться за него некому и надеяться ему не на кого, кроме как на себя. Оттого поведением отличался на редкость независимым и сам себя считал человеком самостоятельным.

А размышлять Зося еще не умел. Оттого и не заметил, как очень скоро перестал он распоряжаться собой, и его судьбу стали определять разные случайные люди и обстоятельства. А может, и не такие случайные, потому кто знает, что в жизни предопределено, а что случайно.

Когда директор городской разнопромартели Кабихин расширял производство, Зосю как раз надумали исключить из седьмого класса. «За нетерпимое и систематиче-

ское пренебрежение правилами». В этот момент какая-то комиссия решила, что лучшее место для Зоси — разнопромартель. Его привели туда и оформили учеником шорника.

Работать в одном цехе с мужиками Зосе нравилось. Он посерьезнел и удивительно быстро выучился шить не только уздечки или шлеи, а даже и мудреные хомуты.

Через считанные недели, став самостоятельным рабочим, он получил уже не ученические гроши, а настоящую получку. Зосе показалось, что денег ему выдали чересчур много. Но интересоваться, не произошло ли ошибки, он не стал. Зажал деньги в кулак, засунул в карман да так и шел до самого дома, с кулаком в кармане. Матери отдал все до копейки и отвернулся, скрывая гордость. Мать пересчитала, разглаживая помятые бумажки, и застыла, губы у нее подрагивали.

— Мало, что ли? — грубо спросил Зося, удивленный, что мать не радуется. По лицу матери покатались слезы. А слез Зося не выносил. — Побольше твоего заработал, — почти мстительно сказал он.

Мать взвыла в голос. Зося хлопнул дверью и мрачно двинулся по улице. Он не думал о том, что обидел мать. Он привык разговаривать с ней коротко, недружелюбно, — Зося не задумывался. Не любил он нежностей и раньше. Теперь же он решил, что она должна считать его за мужика, за кормильца, и, пожалуй, лучше кормить, потому что она, больничная прачка, едва зарабатывала на хлеб, а денег теперь прибавилось.

Зося долго бродил по вечернему городу, исполненный уважения к себе и почему-то раздраженный общим к нему невниманием. Он презрительно разглядывал редких прохожих и злобно отфутболивал попадавшие под ноги камни. Никто не понимал, как переменялась его жизнь.

Вернулся поздно. Мать сидела за столом, в праздничном платье. Рядом с ней горбатая старушка Анна, соседка через два дома. На столе стыла непечатая глазунья с кусками ветчины, стояла бутылка кагора. Мать попыталась улыбнуться сыну.

— Вот... Сегодня вроде праздника... И гостья... — заговорила она. — Такое событие... отметим.

Но голос ее звучал неуверенно, словно она боялась, что сын не одобрит. Зося это уловил.

— А вино пошто? — буркнул он, усаживаясь за стол и отворачиваясь от гостыи. Не любил он эту старуху, которая то шептала что-то истово про себя, то благосно втолковывала матери одно и то же чуть не каждый день: «Терпи. Бог все видит. Он-то справедлив...» Лицемерной и вредной считал Зося старуху. Сам он не верил ни в черта, ни в бога и предполагал, что горбунья успокаивает мать не без корысти.

Мать выразительно глянула на гостью. Та поджала губы, будто ее оскорбили, перекрестилась на передний угол, где темнела забытая икона в пыльных бумажных цветах, и поплыла к дверям.

— Ну и ладно, коли не хочешь вина, — сказала мать и взяла со стола бутылку.

Прошло меньше года, а Зося уже стал в артели передовиком. Ловкими оказались его руки. По случаю большого праздника ему настрого велели прийти на торжественное собрание и артельный банкет. Зося оробел поначалу, но победила подступающая гордость. С начальством за одним столом сидеть — это не каждый день случается. А у него вообще впервые.

Собрались в конторе, которая стала просторнее, когда вынесли из нее кое-какие шкафы и железные ящики. Начались речи. Зося сидел прямо, не проронил ни слова, хотя и отвекали его расставленные на столах и большей частью не знакомые ему закуски. В речах все казалось ему необыкновенно значительным. Сердце его делало сбой в ожидании: вот-вот скажут и о нем, о товарище Березкине. О нем заговорили. И Зося бросило в счастливый жар. Соседи хлопали его по спине, что-то шептали доброе. А он, весь красный, уставился в пол, и никакая сила не могла бы сейчас поднять его голову. Хотелось, чтобы поскорее кончили о нем говорить. Лучше бы наедине пережить эту минуту. Про него кончили, стали хвалить других, и скоро Зосе показалось, что других хвалят больше, а о нем все уже забыли. Он поднял голову, глядел прямо в глаза ораторов, но его не замечали.

Когда подняли первый тост, Зося похолодел. Казалось, строгие бухгалтерши, сидевшие напротив, только и ждут, когда он выпьет, чтобы принародно осудить его. Он уже почти примирился с тем, что не его признали самым первым передовиком, и затаил мечту — к следующему празднику обязательно всех обогнать. И скоро, укрепившись в

этой решимости и оставив стопку, он уже спокойно глядел на застолье, все примечал и даже почувствовал свое превосходство над этими людьми, которые едят и пьют и ничего не знают о его верной мечте, о том, что скоро будут завидовать ему.

Повеселиться и Зося любил. Только не этак. Видывал он пьяные компании и при этом всегда вспоминал отца: мать не раз недобро говорила о нем. Настораживался Зося, когда видел пьяных, и всегда уходил от греха подальше... А тут еще Кабихин встал, покачивается.

— Дорог-гие вы мои! Вы мне, к-как дети, я вам — отец. Кто скажет, что плох директор Кабихин? Никто не скажет, что плохой директор Кабихин! Да я за вас — во! — И обводил руками столы, то ли приветствуя людей, то ли разыскивая полную стопку.

— Верно!.. Не как другие!.. — в несколько голосов отозвалось застолье, хотя Зося заметил, что кое у кого потемнели глаза, вздрогнули, напряглись руки.

— Кто скажет! — бушевал счастливый директор.

Кабихин пояснил знаками, чтобы люди продолжали застолье, и, цепляясь за стенки, поковылял в коридор. Зося тенью скользнул за ним, хотя и не знал еще зачем. Его наполняла отчаянная решимость. Кабихин ощупью выбрался на крыльцо, привалился к перилам, затих и вдруг отчетливо храпанул. «Готов», — злорадно отметил Зося и, оценивая обстановку, обошел вокруг Кабихина кошачьим шагом. Тут его осенило. Он мигом приволок новенькую конскую сбрую и принялся легонько накладывать ее на тучное директорское тело. Кабихин не реагировал, и Зося вовсе осмелел. Сыромятные ремни так затянул узлами, что и трезвый не вдруг бы развязал. Намеревался и взнудать Кабихина, уже и удила примеривал к его просторным щекам, но зашумели в коридоре — народ пожелал на воздух.

Зося пустился домой, раздумывая, видели его за таким веселым делом или нет. Дома с ходу бухнулся в постель. Казалось — совершил он отважный и правильный поступок. Однако спалось ему плохо: что-то беспокойное затолкалось в голове. Крепко забылся только к утру.

На ноги вскочил, как всегда, в семь утра. Плеснул в лицо холодной водой и разом вспомнил вчерашнее. Руки опустились. Тревожно заломило грудь. Идти в артель не было сил. Он еще не понимал: то ли стыдился, то ли прос-

то трусил. Настроение неясно менялось. И Зося то хохотал как припадочный, удивляя и пугая мать, то прижимал ладони к горящим щекам и зажмурился, чтобы не видеть ничего вокруг, забыть все. Не осмелился он идти в артель и на второй день, и на третий.

Дошли слухи — кто восхищался его выходкой, кто костил его последними словами. Мать плакала и кричала на Зосю, пока не зашлась в кашле. Насчет матери все было понятно. Но когда Зося узнал, что Кабихина с позором сняли с работы, ему стало тяжело. И тут Зося задумался. Впервые в жизни.

— Что мне Кабихин сделал? — спросил он себя. Нелегко было задаваться таким вопросом, а отвечать на него — еще трудней. Но деться было некуда. И он ответил честно. — Ничего худого он мне не сделал. Ударником величал. Специальность дал... Заработок... За человека считал...

Мысли обрывались. Честные ответы терзали Зосю, начинало жечь в груди и хотелось немедленно что-то сделать, прогнать это жжение. Бессилие злило, и Зося тихо скулил, стискивая подрагивающие челюсти. Мелькали горькие обрывки: «Все люди как люди... Добро понимают... А я? Я кто?.. Почему такой?.. Как жить-то?»

И вдруг сверкнула догадка, сразу погасившая боль и наполнившая его торжеством. «Если все хорошие — тогда и отец ангел. Отец, которого я не видел. Минуточку... Ангел не бросил бы больную мать со мной в придачу!» Мысль принялась раскручиваться: «И другие не лучше. С виду только добренькие. Прикидываются... Кабихин — первый. Это-то уж точно. Отец артели, понимаешь ли. Правильно я его уделал. У него такой же Зося в деревне брошен. И другие не проведут. Не дамся...»

Зося почувствовал в таком повороте полную свою правоту. «И нечего нюни распускать, жалеть... Тебя покамест никто не жалел. И не пожалеет», — холодно подумал он. Рождалась привычная уверенность и радость, хотя и была она какой-то непонятно тяжелой. Зося потянулся до хруста в грудной клетке и вдруг залихватски выкрикнул частушку:

Задушевный мой товарищ,
Нам с тобою весело.
Мы гуляли, не пропали —
Горевать-то нечего.

От безделья дни тянулись долго. Мать вздыхала и опасливо плакала, а Зося расхаживал по дому фёртом. Он был уверен, что работа ему найдется, и скоро. А он еще поглядит — идти ли по первому приглашению. Он сначала еще разузнает, что за люди на новом месте. Однако дни шли, а Зосю никто никуда не звал. В бодрое настроение стали вклиниваться мрачные и злобные провалы. Он то строил гордые планы будущего, то ронял голову на подоконник и пустыми глазами глядел на улицу.

Порой Зосе казалось, что он знает — кто, зачем и куда идет. Он представлял себе чужие цели и презирал людей.

— Здравствуй, бабушка, — благостно поклонился он горбатой соседке Анне. Та обернулась к нему, глянула недоверчиво и сказала ласково:

— Здорово живешь, паренек.

— У-у, зануда двуличная! — заорал Зося и скорчил мерзкую рожу. Старушка с досадой плюнула и быстрее обычного двинулась прочь. Но еще долго, наверное, стучал в ее уши лошадиный гогот Зоси.

— Дядька, иди-ка сюда, — с самым серьезным видом подманил он следующего прохожего. Тот заинтересованно подошел, вытягивая шею.

— Оглянись-ко! — деловито приказал Зося и метко бросил послушному дядьке на шляпу кусок глины. — Теперь дальше иди.

Прохожий вскипел, а этого Зося и добивался. Он хохотал и корчился в окне от удовольствия.

Злость прорывалась, и Зося не хотел ее сдерживать.

Его бранили, грозили милицией, а самые отважные замахивались на него. Тогда Зося комом вываливался из окна, хватал что попало: полено — так полено, булыжник — булыжник, — и прохожий в панике удирал, изредка и с отворачиванием оглядываясь.

Зося наверняка не полез бы в настоящую драку. Надеялся взять на испуг. И брал, и радовался, что не ошибался, и считал: стало быть, он прав. Где-то в глубине души шевелилось сомнение: люди просто не хотят связываться с ним. Утешало только то, что не он трусил и убегал, а они.

Теперь мать, вспоминая отца, теми же словами честила и сына. А Зосе было либо до буйства весело, либо казалось, что хоть и в тюрьму — так наплевать.

Но Зосю вызвали не в милицию, а в райком комсомола.

— Чудеса! — недоумевал он, разглядывая повестку. — Пошто это я им, со значками, пригодился? Идти или нет?

Он пошел, победило любопытство. Шел и почему-то волновался. Только ухмылка оставалась прежней.

В райкоме с ним разговаривали недолго. Сказали, что есть место в другой артели и что бездельничать и валять дурака в его возрасте уже неприлично. Спокойно сказали. И Зося не обиделся. В душе он был согласен с такими словами и ответил, что попробовать на новом месте согласен. Тогда из угла кабинета поднялся неказистый человек, которого Зося и не заметил поначалу, и сказал без особого выражения:

— Вот и ладно. Пошли, молодой человек.

И пошел, не оглядываясь.

До чего же все оказалось просто. И неинтересно! Зося настраивался, что его будут стыдить великой заботой о молодежи и большими задачами, которые она решает, а под конец примутся либо грозить колонией, либо вербовать по путевке. Тут бы он сказал пару ласковых, отделал бы почище, чем иного прохожего. Но ничего такого не получилось. А он готовился...

«Ловко разыграли... Наблюшннлись, гляди-ко... умеют...» — с завистью и уважением подумал он. Даже неловко стало — заботятся о нем райкомовские девчонки, словно он глупенький.

Зосины ноги сами шли за незнакомым человеком, одетым в стираную снецовку.

— Поглядим! — вырвалось у Зоси, ему показалось смешным, что снецовка местами рваненькая. Сказать-то он хотел, что посмотрим, мол, что за работу предлагают и что за человек его ведет. Но не высказалось до конца.

— Что — посмотрим? — спросил человек в снецовке, оглянувшись, и пошел рядом.

— Ну, дело ваше, — бодро ответил Зося, чувствуя, как уходит смятение и наполняется он ненонятым доверием к этому человеку.

— Посмотри, — почти безразлично сказал тот и околпачательно покорила Зосю, потому что не читал он моралей

и не глядел свысока, а был обыкновенный и, кажется, усталый рабочий.

Миновав несколько улиц, они вышли к черному приземистому строению.

— «Скобяная мастерская», — прочел Зося вывеску.

— Я тут мастером, — без всякой гордости сказал Зосин провожатый и начал показывать ему разные детальки, поясняя, как из них собираются всякие замки. И Зося забыл обо всем. Он умолял, чтобы мастер сейчас же все рассказал ему и позволил собрать замок. Но тот лишь коротко посмеивался. Зосина прыть ему нравилась. На усмешки мастера Зося чуть не взбеленился. Он злыми глазами вился в его лицо, но чем дольше глядел, тем симпатичней казался ему мастер, словно это был не чужой человек, а давнишний товарищ или старший брат. И Зося облегченно засмеялся, теперь уже над собой и чтобы приятно было мастеру.

— У нас рабочий день давно кончился, — сказал мастер. — Давай-ка завтра, к восьми утра. Тогда и начнем.

Утром он вскочил рано, бодрый и обнадеженный. Только теперь он небрежно сообщил матери, что снова принят на работу и ему пора. Мать приутихла и глянула на сына так, словно умоляла его быть теперь поумнее, поосторожнее.

Влажноватая прохлада утра будоражила и делала тело невесомым. Так и хотелось вскинуться и бежать, подпрыгивая высоко и дурашливо. Но Зося выдерживал марку серьезного мастерового, знающего цену себе и всем прочим. Мимо школы прошел с самым независимым видом, даже на окна не взглянул.

К мастерской пришел раньше срока, но люди там уже были, что удивило и раздосадовало Зосю. Он-то рассчитывал прийти первым, чтобы показать себя. «А тут и без меня старателей навалом», — разочарованно подумал он.

Он разглядел, что в мастерских копошатся два старичка, и немного успокоился. «У них уже руки дрожат. Эти не обскачут», — решил он и, не здороваясь, спросил, где тут мастер по замкам.

— Здесь один мастер, — ответили ему. — Иван Иванович Пашин. Он скоро будет. А ты кто таков?

— Пашин? — переспросил Зося, не устаивая стариков рассказом о себе, и развеселился. — У него жена не Прасковья? — брякнул он неожиданно.

Зося тут же понял, что хватил через край, и даже неудобно почувствовал себя, вспомнив старого мастера, но виду не показал, изо всех сил продолжал держаться независимо. К нему вплотную подошел темнолицый старичок, поглядел неодобрительно, сказал:

— Длинен у тебя язык, паря. Как бы на него не наступили.

— Покажи мне эту ногу! — презрительно бросил Зося, заводясь на свой лад.

Старичок совсем уж осуждающе покачал головой.

— Ты не из блатных ли? Или у тебя язык без контакта с мозгой?

У Зоси тотчас родился убийственный ответ, но он напел в себе силы промолчать, демонстративно отвернулся, нагоняя на лицо скуку. Он ждал мастера и хотел увидеть его только вчерашним: понимающе улыбчивым.

И вот он. Поздоровался с Зосей за руку, заговорил с вчерашней улыбкой:

— Угадал ты. Жена у меня и верно Прасковья. Только ничего смешного, брат, в этом нет. Хотя смейся, если можешь. Смех, говорят, как витамин.

— Да я... — хотел было искренне оправдаться Зося, злясь на ябедников-стариков. Но Пашин не слушал его.

— Вижу, что ты. И верю, что именно ты Кабихина с должности спихнул. Его, может, и следовало. А меня-то уж пожалей, меня еще не за что...

Пашин говорил все с той же улыбочкой, и Зося не слышал в его словах никакой издевки. Веселых людей и умелую подковырку, хотя бы и в свой адрес, он уже мог оценить, и без обиды.

— Да я... Иван Иваныч...

— Вот твое рабочее место, — не обращая на слова Зоси никакого внимания, с потками торжественности заговорил мастер, показывая на длинный стол, к которому были привинчены тяжелые железные тиски. — Будешь делать замки. На замках у пас два старичка. Пенсионеры. В любое время уйти могут. Свое отработали, дай бог всем так. Теперь надежда только на тебя. Освоишь дело — зарабатывать будешь неплохо.

Зося почти не слышал последних слов Пашина; он взялся за инструменты.

Три дня подобревшие старички учили его вырубать и выпиливать по шаблонам замочные детали. И поминутно

хвалили за то, что ничего не валится у Зоси из рук. К концу третьего дня старички, потихоньку посоветовавшись, важно пожали руки Пашину и Зосе, поклонились вывеске и пошли в город, торжественные и чинные.

— Они на маленькую сбросились. Сейчас зарядят, — шепнул Зося, и Пашин посмеялся вместе с ним.

— Хорошие деды, — сказал Пашин и вздохнул, принимаясь за свои дела. А Зосе хотелось поскорее сделать замок своими руками от начала и до конца, без подсказок и надзора. Он и сделал его. Замок получился не хуже дедовских. Домой Зося шел спокойный и усталый. На душе было хорошо, мирно.

Через несколько дней Пашин доверил Зосе всю замочную мастерскую и лишь изредка заглядывал к нему. А Зосю не надо было ни подгонять, ни докучать контролем. Работать ему нравилось, и невозможно было делать дело не на совесть. Скоро ему дали хороший разряд, и заработок стал выходить больше, чем когда он был передовым шорником. Зося один выполнял все заказы горожан на замки и ключи, успевал делать их и для магазина. И даже свободные минуты выпадали. Это, наверное, его и погубило.

Простые замки надоели. Пришла идея смастерить замок с двумя дужками и двумя же ключами, непохожими один на другой. Кому был нужен такой замок — Зося не знал, не думал. Конструкторские размышления захватили его. Он заперся в мастерской и, чувствуя страх от такого своеволия, упрямо решил не открывать двери, пока не добьется своего.

Заказчики, что потеряли свои ключи, и не представляли жизни без новых, ругались и стонали у порога мастерской, успевая бегать жаловаться в контору артели. А Зося слышал их голоса и вроде бы не слышал. Он занимался своим делом до той минуты, пока через запасной ход не прорвался к нему директор. Зося мало знал его. После случая с Кабихиным он избегал начальства. Слышал только, что этот директор зол и вреден, и оттого испугался. Директор молча взял Зосю за руку, оттащил от верстака и вывел во двор тем же ходом.

— Иди! По собственному желанию. Расчет почтой вышлем, — проговорил он вежливо. Зося хохотнул ему в лицо и тут же чуть не заплакал от досады.

— Это тебе за Кабихина, — прошипел директор и хлопнул дверь.

Зося, успевший прихватить почти готовый замок с двумя дужками, поплелся домой, разглядывая злополучную самоделку, словно видел ее впервые. Хотелось швырнуть ее в крапиву, и жаль было редкой штуковины, да еще сделанной собственными руками.

И снова Зося страдал, злился и ждал лучшего. Исхудал и лицом потемнел. Пробовал торчать в окне, как бы напоминая о себе горожанам, но они проходили мимо равнодушно, а прежние забавы теперь казались Зосе скучными и недостойными его, замочного умельца. Он начал ходить по городу, чтобы разузнать какую-нибудь работу, но ничего не получалось. С отчаяния он стал заходить в разные артели, но везде ему припоминали Кабихина, затворничество в замочной мастерской, расспрашивали подробности, смеялись и отвечали, что свободных мест нет. Пришлось объявить соседям, что он берет в починку валенки и ботинки. Желавшие рискнуть сразу нашлись. И мало-помалу Зося стал мелким шабашником. От нужды — да и интересно было — выучился он чинить всякую железную рухлядь, даже самовары лудить. Зарабатывал неплохо, но нагрянула к нему комиссия, пригрозила оштрафовать, а сжалившись — приписала его к третьей артели надомником.

Артель почему-то затребовала Зосю в цех. Там его усадили рядом со старыми сапожниками и заставили подбивать подметки к ношенной обуви. Этому Зосе было мало. Глядя на руки старых мастеров, он до мелких подробностей запомнил, как шьются хоть офицерские сапоги для милиции, хоть дамские сапожки.

Возиться со стоптанными башмаками и валенками, от которых воняло портянками и самим чертом, было скучно, хотя Зося не отличался брезгливостью. Следить за руками сапожников — тоже надоело, он уже с закрытыми глазами представлял всю технологию. И Зося стал заглядывать к часовщику, сидевшему в соседней комнате, а скоро по своей воле нанялся к нему на подхват. Часовое дело он досконально не изучил, потому что пришел директор, сделал Зосе выговор за безделье и отправил обратно в надомники, чтобы не объедал товарищей по цеху.

Теперь Зося вел мастерскую па дому уже на законных основаниях. Он никому не мозолил глаза, и его не отвле-

кали. Работать в одиночку было тоскливо — скулы сводило. Но и деваться некуда, и Зося горбился на самодельной липке. Правда, стали приходиться в голову всякие мысли. Но мысли эти Зосе некому было высказать, не подворачивалось подходящего человека. А мысли были нештутейные, Зося чувствовал, их на шляпу прохожему не кинешь, как глины кусок...

Хлеб доставался теперь нелегко: половину выручки забирала артель, каждому клиенту приходилось выписывать ненавистные квитанции, оставлять себе копии и думать о выполнении плана, чтобы рассчитывать на конечную премию. И копилось неясное зло. На всех.

Вечером, когда Зосе было особенно тоскливо и одиноко, к нему пришел Пашип, принес дырявые валенки. Он оглядел Зосину шорню и сказал сочувственно:

— Руки у тебя золотые, а слава пезажная. Плохо это.

— Плевал я па все, — с ходу огрызнулся Зося.

— Нет, брат, без людей не проживешь. Кого ценят люди — тот и человек. Народ, брат, не ошибается.

— Да пошли они все подальше...

— И я значит? — с усмешкой спросил Пашип. Зося осекся, нахмурился.

— Не знаю, Иван Иванович. Тоже небось себя любишь.

— Начудил ты, — спокойно продолжал Пашип. — Долго будут помнить. Ну, ты молодой, пезропаций. Тебе бы к большому делу надо, которое поновей, посимпатичней. Негоже в наше время молодому парню валенки подшивать.

— Везде один мед пролит, — взъерепенился Зося. — Большое дело — ха! Где больше людей — там и гадости больше. Это точно, я думал. Выкручусь! Обойдусь. Пусть болтают про меня, а я не ворую, я работаю! Хоть бы и валенки.

— Ты бы с добром о людях думал, а не с сердцем... Ясней бы жизнь шла. И товарищи у тебя были бы.

— А тебе-то что за горе? Приставили тебя? Чего вы все мне покою не даете? На дом пришел читать! — еще больше озлился Зося, слабо сознавая свою неправоту и оттого свирепея еще больше.

— Дурак ты, — необходимо сказал Пашип. Но Зося уже понесло.

— Забирай свои опорки! И отвали! — заорал он.

В комнате на минуту установилась тишина. Зося чув-

ствовал, что Пашин советует что-то доброе и надо бы пустить мысли по этой дорожке. Но советы Пашина казались ему в то же время какими-то сладенькими, смахивающими на показную доброту горбатой соседки, и оттого в нем закипал протест. К тому же соглашаться с Пашиным — значит окончательно признать, что жил дураком. Но убедительных слов для спора не было у Зоси.

— Набьешь ты себе шишек, — с досадой сказал Пашин. Он завернул в газету свои валенки и ушел.

Зося швырнул в угол чьи-то опорки... «Нахамил мужику! Этому-то за что? — проклинал он себя. И спрашивал, останавливаясь: — А может, правда, все одинаковые? Может, и Пашин — как тот Кабихин, только копнуть поглубже?..» Ему казалось, что сейчас же, немедленно надо что-то решить, придумать важное, чтобы все стало ясно. Но в голове бурлила тягостная путаница. «Хоть давился, — беспомощно прошептал он. — Нет! Надо уехать из города, а то заклюют». Он обрадовался этой мысли. Решение пришло. Его надо было исполнить. Стоило.

Зося широким шагом двинулся по главной улице к тому месту, где забор пестрел плакатами о вербовке. Читал их недолго. Далекое места, казавшиеся поначалу столь заманчивыми, теперь пугали. Его остановил плакат, приглашавший на курсы трактористов за казенный счет. Курсы были районные, рядом с городом. «Вот она, специальность поновей, и дело большое, и от матери недалеко», — шептал он, вроде продолжая спорить с Пашиным, хотя Пашин советовал ему как раз это.

Через три дня Зося уехал на курсы.

3

Телеграмму Зосе вручили па торжественном собрании, посвященном окончанию курсов. Он удивился — впервые в жизни телеграмма была адресована лично ему. И подумал, что, наверное, кто-нибудь из знакомых поздравляет его с окончанием. Может быть, даже Пашин.

Он прочел кургузые слова, и удостоверение тракториста выпало из его рук. Кумачовые лозунги, развешанные в зале, почернели. «Приезжай. Умерла мать. Похороны завтра», — беззвучно повторял он. Соседи заглядывали в казенный бланк и тихо отшатывались.

Побледневший, он ринулся из зала. Чуть не забыл прихватить из общежития свои вещички. Выбежал на большак, издали голосуя каждой машине.

Ведь и не любил он вроде бы мать. И всерьез ее не принимал. И разговаривал с ней грубо. Можно сказать — вовсе не разговаривал! Не советовался. И не слушал. А не стало ее — и затрепетала в Зосе боль. Эта боль была непривычна, от нее хотелось избавиться. Но она росла и пугала Зосю, мучила... Да сам и виноват, не берег матушку. Пробыл на курсах четыре месяца и ни разу не спросил — как она там. А ведь она — мать. Она-то уж точно, без притворства, как другие, желала ему только добра. Она его выпестовала, на последние гроши одевала. Из-за него она и в могилу сошла...

Зося терзался и не знал, куда деть свои длинные руки, которые то обхватывали голову, то дергали на груди замасленный ватник, то бессильно падали. Он не замечал тряски, он торопил шофера и все старался разглядеть за прыгающими впереди холмами очертания родного городка.

И все же грузовик вкатился на городские улицы удивительно скоро. Зося бегом помчался к дому. Ноги подкашивались. Пораженный, он замер возле крыльца, рядом с которым косо стояла длинная крышка гроба, сколоченная из желтоватых досок. Чья-то рука вывела на ней химическими чернилами неровный крест. Крест этот окончательно сразил Зосю. Всклипывая, он вбежал в дом, грохнулся на колени рядом с гробом, боясь притронуться к восковым, синеватым рукам матери. Он не помнил, чтобы когда-нибудь притрагивался к этим рукам, когда они были еще живыми, делали работу, обмывали и обшивали его, готовили ему пищу. Зося осознал это, порывисто припал к рукам матери и затрясся в рыданиях.

Горбатая старушка перестала читать Псалтырь и воззрилась на Зосю. Подошла к нему близко, заговорила истоиво что-то утешающее. Зося не разбирал ее слов, но благостный, человечный тон ее голоса западал в душу. Он успокаивал, хотя грудь оставалась переполненной незнакомой болью, которая теснила сердце и распирала неподатливые заостренелые ребра.

— Теперь уж не вернешь, а царствие небесное... — наговаривала старушка.

«Царствие небесное... ни при чем, а что не вернешь —

это верно, — думал Зося и стал соображать дальше: — Плачь не плачь, а не вернешь. Не поможешь». Думалось холодно и отчетливо, даже сердито, что теперь надо делать всякие неприятные похоронные дела, а люди будут глядеть и шептаться — много ли плакал Зося, богато ли украшен гроб... Зося думал и становился почти самим собой. Усталым, будто постаревшим, но уже собой. Это придавало ему сил.

Ему осталось только купить вина на поминки. Купил на последние рубли. Уединившись в своей шорне, он приложился к бутылке, считая, что имеет на это полное право, и проспал на лавке до утра похорон.

Когда он проснулся, в доме снова шушукались старушки. Зосе подумалось, что они делают свое дело почти с удовольствием. Это было ему страшно и непонятно. На всякий случай он озлился. «У-у, курицы, ведьмы незванные!» — чуть не вслух прошипел Зося. Но под окном просигналила больничная машина. Надо было спешить. Шофер помог Зосе вынести гроб с телом...

Шофер сигналил за оградой. Представительница уже сидела рядом с ним. Старушки перекрестились и заспешили к машине. Подолгу оглядываясь на могилу, Зося дергающейся походкой шел за ними.

На поминках старушки чувствовали себя хозяйками. Зося упросил зайти и представительницу. Выпили не чокаясь. Помолчали. Зося налил по второй. Представительница поглядела на часы, извинилась, сохраняя на лице казенно-скорбную маску, и ушла. Зося повесил голову. Старушки запричитали, принялись перебирать живых и мертвых товаров. Зося зажал уши.

Он не нынел. Следил за собой и удивлялся, что в нем сейчас жили словно бы два человека. У одного слезы накипаали, и ему было жаль самого себя, а другой шептал, что произошло то, что и должно, что умирают все, а матери, пожалуй, и лучше лежать на кладбище, чем мучиться в прачечной, а дома кашлять и ругаться. Все помрут: и эти старушки (они вон как спокойно, даже с удовольствием рассуждают о своей близкой смерти!), и брезгливая представительница помрет, и сам Зося тоже помрет, — шептал ему этот человек, удивительно умный и холодный. И его, умного, приходилось осаживать, чтобы не болтал лишнего, а то он мог, пожалуй, убедить Зосю, что и горя никакого нет, а просто жизнь идет заведенным поряд-

ком, который никак не изменить. А первого человека приходилось с трудом удерживать от слез.

Старухи затаили похужее на молитву. Зося зыркнул на них, вышел на крыльцо. Сжал гудящую голову. Мыслей больше не было. И непонятно было, то ли остановилось время, то ли неслось еще стремительнее.

— Ой ты, сиротиночка! — услышал он рядом пьяный старушечий голос. И не оглянулся.

— Не жалел матку-то, вертопрах. И глазыльки ей не закрыл, — проскрипела горбунья.

Он пошел в дом. Неубранный стол с закусками и недопитым вином снова всколыхнул в нем боль. Он с отвращением собрал объедки в газету, бутылки супул в шкаф. И поскорее захлопнул дверцы, потому что из шкафа на него с укором глянул сиротский застиранный халат матери.

Пустой дом казался заброшенным сараем. Зося бесцельно бродил по комнатам, но в каждом углу наткнулся на вещи матери и пытался от них. Надо было что-то делать. Но что?

Одиночество и боль пластали бесжалостно. Обидно было, что никто, кроме погребальных старух, не пришел к нему в эти горькие дни.

В Зосе вновь закипело негодование.

— Хватит. Будь мужиком! — вслух приказал себе Зося и сдернул простыню, которой старухи завесили зеркало. Надо было оглядеться, привести себя в порядок. Из зеркала на Зосю глядел длинный сутулый нарень с продолговатым серым лицом, усыпанным синеватыми пупырышками, с тяжеловатым посом и толстыми влажными губами. Серые глаза навывкат были водянисты и воспалены. Пепельные волосы редки. Плечи узкие, широкие ладони свисали до колен. Зося вздохнул и отвернулся. Ничего нового в зеркале он не увидел и еще раз подумал, что и с такой внешностью жить ему будет нелегко и вряд ли может он рассчитывать на удачу, не говоря уже о такой несбыточной и неясной штукавине, как счастье.

Через два дня Зося, нарушив договор с сельхозтехникой, завербовался на стройку в большой город. Сходил на могилу матери, постоял там почти бесчувственно.

На дверях дома уже висел замок с двойной дужкой, тот самый. И не было сил снять ладонь с дверной скобы. Тяжело было идти по двору. Ноги не слушались, словно

знали, что идти им предстоит ой как далеко, а дорога неторная.

Зосю ждала новая жизнь. А жил ли он до этого дня? Пожалуй, и не жил, а так — существовал, рос, как птенец или тоноль, или как глупый черный рак. Точно, как рак. Сидел в норе, а потом снова выползал, лупил глаза.

Жизнь шла сама собой, текла, как речка Матрениха, и вырастал в ней, набивая шишки и изредка глупо радуясь, рачишко по имени Зося. Бывало, и клешнями махал, дурачок. А что толку. Думать надо было, вот что!

Унылые честные мысли текли в Зосиной голове. Вот он уже стоит возле угла дома, ухватившись за выщербленный торец. И с него трудно снять руку. Вот и калитка. Ее надо замотать проволокой, намертво.

Последний раз глянул на подворье. И сладко защемило душу. Милым и самым уютным показался родной дом, который надо было покидать надолго, а может, и навсегда. Дорогим и самым красивым стало крыльцо, хотя видно, какое оно косое и щелястое. Зовуще глядели на него давно не мытые окна.

До вокзала дошел, ни разу не оглянувшись на дом, из которого сквозняки выдували последнее хозяйское тепло.

4

Земляки вновь увидели Зосю только через несколько лет. Была ранняя весна. Зося торопливо шагал по непросохшей еще дороге, издали пытаясь разглядеть свой дом. На Зосиной голове лихо сидела шляпа с высоко загнутыми полями, спину его обтягивала синяя нейлоновая куртка с желтыми «молниями», на ногах красовались заграничные туфли.

Однако шагал Зося тверже, чем прежде, слегка подавшись вперед грудью и вытянув шею, зорко замечая все, что происходит вокруг. И взгляд у него был уже не просто веселый или злой, а усмешливо-нагловатый, ускользающий. Было похоже — он теперь точно знает, что ему делать на этой земле.

Возле дома Зося сорвался с шага на бег. Скользнул глазами по фасаду. Вспрыгнул на крыльцо. И улыбнулся. Взялся руками за замок с двойной дужкой, потряс его

дегонько, словно потрепал любимую собачонку. И построжел лицом, заноса ногу за порог.

Через полчаса в доме распахнулось окно, и в нем показался Зося. Стоял, руки в карманах, на улицу и на прохожих глядел с изучающим прищуром. Не здоровался ни с кем. И его вроде не замечали. Или не узнавали.

Еще через полчаса Зося медленно прогуливался вдоль улицы, посверкивая глазами, словно фотографировал все подряд. А улица эта так и осталась крайней. И ничего на ней не изменилось. Тот же гладко обкатанный булыжник проезжей части, те же голые неровные тропки вместо тротуаров. Дома, правда, стали немножко не те: одни повыпрямились и хвастались свежей краской, другие еще больше почернели и прижались к земле. И только на самой окраине, в кочковатом лугу, где испокон паслись городские гуси, что-то копали и вроде строили. Зося пошел туда, молча подивился размаху работ и узнал, что тут строится ММС — машино-мелиоративная станция и что сюда требуется много людей, а механизаторов, как он, с руками рвут. Он порадовался, что работу долго искать не придется, и к дому пошел быстрее.

У калитки закурил, остановился, по-хозяйски расставив ноги и уперев руки в бока. Теперь соседи его признали, подступили с расспросами. Зося рассуждал солидно, но от прямых ответов уклонялся. Соседи быстро смекнули, что Зося уже не тот, и раскланивались с ним почтительно, как с человеком бывалым. Они в один голос рассказывали, что по улице каждый день шастают люди со строительства ММС, ищут себе жилье и что Зосе вся статья пустить побольше жильцов в свой пятистенок. Зося слушал с интересом, но не сказал ни да, ни нет. Однако скопившуюся в доме черную пыль убрал.

Первым снимать угол отчего-то пришел не строитель, а милиционер Зосиных лет. Отказать ему Зося не решился, да и любопытно было, как это жить в одном доме с милицией. К тому же парень приглянулся ему: плотный, курносый, вроде свой человек. И серьезный. «Иметь под рукой милиционера — это совсем не плохо, — размышлял Зося, довольный собой. — Очень он может пригодиться. Мало ли... А тут свой блюститель, щит и меч!»

Милиционер привез на «козликe» холостяцкие пожитки и ради новоселья выставил бутылку. Зося от удивления

замахал ручищами — до того ему стало радостно и смешно. Милиционер слегка покраснел. А Зося ликовал. В своем доме он разрешал себе быть самим собой.

— Я-то думал — милиция в рот не берет! — притворно удивлялся он и гоготал, стараясь, чтобы это выходило небойдно.

— Ты о себе расскажи, — спросил милиционер, брезгливо разглядывая Зосины стаканы подозрительной чистоты. — Меня зовут Василием. Служил на границе, а теперь вот — в органах. — И многозначительно глянул на Зосю.

— А чего мне тренаться? — охотно заговорил Зося, раздумывая, какой тон лучше взять в разговоре. — Нечего мне докладывать. Батка мой — беглый. Искарют. Матушку — работа п хворь в гроб загнали. А я — весь тут.

— Чего в большом городе не прижился? — не принимая шуток, спросил Василий.

— А — не приглянулось. Там ведь как? В общаге коек — что гвоздей в старом каблуке. А на койках — холостяки и разведенные молодцы. И мало кто выпить не любит. С получки начинается сбрасывание и вбрасывание во всех зонах. Захочешь отойти, а тебя на силовой прием берут, травмируют. Такая острая борьба идет с неделю. А потом стукоток по всем этажам — это холостяки свои зубы на полки бросают. И так до аванса. Вот и не приглянулось мне... Себя забыть можно и зачем живешь — тоже. У нас там один так избаловался, что и на работу перестал выходить. Проспится, напикалит по скверам пустых бутылок, сдаст — вот и опохмелка. И снова на бок. Бывало, на червонец зараз сдавал, если пораньше на промысел выходил. Его уж и из общаги исключили. А он все равно проникал.

— Понесло тебя, — сказал Василий. — Ты о себе давай. Зачем петли-то кидаешь? Где работал, в какой организации?

— В унээре.

— А точнее?

— Точнее так, — и Зося запел в голос: — «То пойдет до горбани гармошка, то обратно вернется совсем, матерятся басы под окошком во дворе унээр номер семь».

— Даешь! — милиционер без одобрения разглядывал Зосю с ног до головы.

— Нет, а неужели и милиция пьет?

— Плохо ты притворяешься, — проницательно заявил Василий. — Сидишь вот перед бутылкой, а пьешь осторожно, хотя по лицу и по ухваткам видно, что употреблять умеешь, и весьма. Так что я с тобой первый и последний раз вот так, за столом. А милиция, что ж... Что мы, не люди? Помучаешься с... некоторыми... Нервное напряжение, потребность в разрядке...

Василий встал и со скучным лицом отвернулся от Зоси.

— Давай злись... Припомнишь, когда я к вам попаду... — все еще веселился Зося. Вел он себя так, словно и не предполагал, что юмор для кого-то обиден и непонятен. Милиционер начал запоясываться в свою португую, явно собираясь уходить. Зосино веселье быстро шло на убыль. Он засуетился.

— Слушай, Вася, у тебя есть шмара? — спросил он вкрадчиво, заглядывая в глаза насупившегося постояльца. Зося уже встревожился, что с милиционером с самого начала получается так неладно. От привода в райотдел застрахованным он себя не считал. Но даже не в том дело. Не хотелось оставаться одному.

— Не понимаю, — деревянным голосом и не сразу ответил Василий, хотя вполне понял Зосю.

— Ну, зазноба, сударушка или невеста, любимая, что ли?

— Зачем тебе это?

— Какой у нее размер ноги? И подъем, высокий, низкий?

— Ты чего, обалдел?

— Да не качай ты права! Я ей сапожки сошью. Самые модные. Хоть с вензелями, хоть с помпончиками. На «молниях»...

— Ты что, серьезно? — Василий, совершенно сбитый с толку, остановился у порога.

— А ты погляди! — крикнул Зося. Он схватил жильца за руку и потащил его в дальнюю комнату, заваленную черт-те чем. Был тут полный ящик самодельных березовых колодок, кучки разноцветных кусков хрома, всевозможные опорки, гвозди в баночках и россыпью... Утыканные шильями косяки единственного окна блестели, словно были покрыты черным лаком. С шильев свисали мотки дратвы. А посредине комнатушки красовалась липка, обтянутая поверху треснувшей кожей.

— Дела! — поразился Василий. — Ты, значит, и на это мастер? Без патента?

— Какой патент? Я же сколько здесь не жил! Давно бросил это ремесло. Но твоей — сошью. По блату, хе-хе. Чтобы кожа вот эта не пропадала. Материальчик! Ну и чтобы зазноба твоя по магазинам не бегала, продавщикам не кланялась.

Василий покачал головой, подумал. Он не сказал ничего определенного, но крикнул, похоже одобрительно. И лицо у него сделалось поприятливее. Он ушел, а наутро вполголоса, словно заговорщики они с Зосей, выложил все пужные сапожные сведения. А Зося успокоился и повеселел.

— Нет, со здешним народом можно жить, — вслух рассуждал он, посмеиваясь.

И Зося запел, выкраивая голенища, необыкновенно бодрую, но не вполне печатную песню, привезенную из общаги большого города.

5

Через пару дней усердной работы Зося наводил последний лоск на каблуки алых сапожек дефицитного тридцать шестого с половиной размера с высоким подъемом. И напевал все ту же песню, довольный собой и работой. Отношения с милицией налаживались, как он думал, наилучшие. В это-то время и заглянула к нему в окно незнакомая физиономия. Она утвердилась в окне, словно портрет в рамке, и уставилась на Зосю. От полноты настроения Зося показал ей язык. Физиономия и бровью не повела. Тогда Зося прицелился в нее сапогом, как маузером, и бабахнул. Физиономия слегка отшатнулась и надула щеки, которые стали синеватыми с радужным оттенком, какой бывает на новых жестяных трубах к самоварам. Щеки колыхнулись и выдали басом вопрос:

— Изосим Березкин?

— Я! — гаркнул Зося, вскочил и отдал честь.

— Мне тебя и надо.

— Иди бери.

— Может, через окно? — физиономия изобразила улыбку, стараясь, видимо, попасть в тон веселому домовладельцу.

— Быстрее будет!— одобрил Зося, готовый к потехе, и тут же заторопился с вопросами, которые вылетали сами собой.— А ты кто такой? Отчего у тебя рожа синяя?

— Чубенко я, директор вон той ММС,— в два приема сказали щеки и кивнули в сторону стройки.— А лицо у меня такое от густого волоса и хорошего бритья. Понял?

— Понял. Хохол ты, значит. Директор,— вслух оценивал гостя Зося.— А я бывший тракторист УНР номер семь управления паружных работ, то есть треста...

— Знаю,— сказал Чубенко.— Хорошо, что наружных. Ты мне нужен.

Зося завелся. На мгновение ему подумалось, что с директором надо бы покультурнее, что еще, может, придется работать у этого директора. Но мозг тут, по старой памяти, запротестовал против обычного здравого смысла, тем более что директор и сам вроде на дурь напрашивается. А это — пожалуйста и в любом количестве.

— Давай руку!— бухнул за окном бас.

— На!— Зося с ликованием высунул на улицу свою черную, блестящую от дратвы лапу.

— Я тебя сейчас самого... со всеми потрохами... как дышленка выволоку!— угрожающе рычал бас.

— Не кажи гоц, дядя!— Зося уперся, но тут же и приутих, почувствовав непомерную силу и тяжесть тела противника.

Боролись они долго. Зося тоже побагровел и посинел, как щеки за окном. Со страхом думалось, что вот-вот лопнут жилы, потому что натянулись они до последнего предела, до пугающей острой боли. Но вот над подоконником показалась круглая смоляная голова. За ней — широкие, как подушки, плечи. Дальше пошло легче. Блеснул значок-поплавок на пиджаке... Отпустив дрожащую Зосину руку, Чубенко закинул на подоконник толстую ногу в резиновом сапоге и перевалился всем телом в Зосину шорню. Встал, оттолкнувшись ладонями от подоконника, загородил все окно.

— Рабочий класс всегда верх возьмет,— срывающимся голосом проговорил Зося.

— Само собой,— согласился гость. И констатировал совершенно спокойно: — Ты и сапожник, значит.

— Обувщик,— поправил его Зося.— Сапожников теперь нет. Одни обувщики. И тех мало.

— Богато живешь,— иронически заметил Чубенко.

— Последний хрен без соли доедаю,— брякнул Зося и залился.

— На бульдозере больше заработаешь,— сказал Чубенко. Зося тотчас оборвал смех.

— Это конечно,— согласился он, будто речь шла не о нем. И добавил уже без особого веселья:— Хотя бульдозер не к себе гребет, а от себя, глупая машина.

— Будешь у меня работать. А я пока буду у тебя жить,— решил Чубенко и пошел по комнатам, словно пробовал на прочность стонущие под его ногами половицы.

— Раз я проспори́л насчет окна — значит, все, твой,— с наигранным вздохом проговорил Зося. Сапожки сразу наскучили. Он бросил их, не глядя, и задумался.

Чубенко все еще ходил по дому, а Зося прислушивался к его шагам и думал. С такими жильцами придется вести себя умно. Не жильцы, а мечта, клад. Не какие-нибудь запивохи, сбжавшие от жен, а солидные люди, руководители, сила, власть. Дурак будет Зося, если не попользуется этой силой, которая теперь постоянно под руками. Веселая намечается жизнь...

Чубенко вернулся к Зосе, усадил его на липку и положил ему на плечо тяжелую руку.

— Слушай,— сказал он.— Ты слышал ли, что за штука такая — мелиорация земель? А? То-то. А я по своей липии институт закончил и прислан сюда создавать ММС. И будете вы, механизаторы-мелиораторы, улучшать земли в своем районе. Задача вкратце такая: негодные кустики убрать, кочки — сровнять, низины осушить до оптимального, где надо — вспахать с полной дозой удобрений, чтобы каждый гектар дал хлеба и картошки, и трав вдвое больше, чем сейчас. Благоднее дела, Зосим, нам с тобой не найти. Вот давай вместе и поработаем. Но мы еще в пеленках. У меня и конторы нет — строю. И техники мало. И людей. И производственные корпуса только-только заложены. А с нас уже требуют план. А план, брат, дело святое. Трудно сейчас, это я тебе честно скажу — трудно. Помощников у меня раз, два — и обчелся. Вот и призываю я тебя, дорогой мой домохозяин, иди ко мне. Жду я от тебя помощи и вполне сознательного труда.

Чубенко перевел дух. Зося блаженно зажмурился и... захлопал в ладошки, изображая аплодисменты.

— Мелиоратор, мели, — ласково сказал он директору, как ребенку.

Глаза у Чубенко вытаращились, вижпя губа брезгливо опустилась. Зося вскочил, схватил его за руку, умоляюще глянул в посеревшее лицо.

— Ты что, шуток не понимаешь... директор! Да я же... да что там! Когда ты мне... так... по-людски... дак и я по-человечески, да. А! что говорить! Да не обижайся, ну!

— Ой и увертлив ты! Жучок ты, вижу, порядочный. Ха-ха. Но спуску от меня не жди. Да и трудно хохла провести. Ха-ха. Не удастся, помни...

Зося чутко следил за переменами в лице директора и вдруг понял, что в большом незнакомом городе он не мог так вот от всей души озорничать и веселиться, отчего его всегда смутно тянуло домой.

6

Зося решил, что жильцов ему хватит, и больше никого не пускал. Трое холостяков стали жить под одной крышей, но никто из них и не думал заботиться о ветхом пятистенке.

— Под снос пустим. А на этом месте поставим пятиэтажный, со всеми удобствами,— не в шутку планировал Чубенко.

— А мне квартиру в центре обещают,— сообщал Василий. Зосе тоже на дом было наплевать. Он понимал, что не хватит у него силенок и денег нет, чтобы отремонтировать. Решил про себя, что если дом развалится, то Чубенко с жильем ему поможет. К тому же за снос дома полагались большие деньги и благоустроенная квартира. Тоже заманчиво.

Зося жил предвкушением скорых и немалых выгод, которые должны были обеспечить ему ответственные жильцы, и заранее веселился. Он расхаживал по дому и напевал, потирая руки. Старые обиды на земляков почти забылись. Прежнюю жизнь здесь он вспоминал с усмешкой. Хотелось поработать, показать себя, повеселиться. И все хорошо, если бы радужное настроение не сменялось приступами острого недоверия. И тогда Зося шипел: «Не дамся! Я уж такое спытал и столько умею, чего этот сопливый городишко и в телевизоре не видал. Меня не проведете!» И тосковал в одиночестве. А потом приходили

жильцы, и Зося забывался в шутливом балагурстве и смутно чувствовал, что с людьми ему легче.

Чубенко оформил его на работу в ММС и сказал, чтоб явился к мастеру Пашину. Услышав знакомую фамилию, Зося хохотнул, но ничего не сказал, а через минуту и вовсе посерьезнел. Глаза сузились: последняя встреча с Пашиным и размолвка отчетливо всплыли в памяти. Как встретит?

Пашина он нашел быстро. Они тайком оглядели друг друга и поздоровались как старые добрые знакомые. Зосино лицо при этом светилось дружелюбием, но держался он перед старым мастером уже не как ученик, а с достоинством бывалого работника. «Помнит или забыл?» — мысленно спрашивал себя Зося, а говорил другое, словно газету читал:

— Тут, гляжу, масштабы. То-то Чубенко агитировал...

— Возле Чубенко человеком можешь стать.

— А я кто? Ладно. Работу показывай, — посуше проговорил Зося.

— Работа опять по железу, — тоном артельного мастера ответил Пашин и повел Зосю к приземистому дощатому навесу, из-под которого неся гул моторов и гром металла.

Под навесом с широченными щелястыми воротами громоздились полуразобранные трактора, огромные ржавые плуги и еще какие-то машины. В углу «гоняли» на пробу мотор, и он ревел недорезанным боровом. Рядом бухали кувалдой. Грохот стоял, кричи не кричи — ничего не разберешь. Зося следил за губами и руками Пашина и думал: ему придется очищать от грязи тракторные гусеницы, разбирать и заменять изношенные траки и пальцы. Работы тяжелее и унизительнее этой и выдумать было невозможно.

— Удружил! — свирепо процедил Зося, когда Пашин отошел. — Но — поглядим... За мной не пропадет. Я тебе тоже... отоварю...

Не забыл, значит. Или попробовать хочет.

Зося перекурил и принялся за работу, кидком-броском. Но скоро сообразил, что для него же будет выгоднее, если задание он с первого же раза выполнит, чтоб не подкопаться. Тогда и зануда Пашин задумается о Зосе.

И Зося увлекся делом. Пашин подошел к нему только в конце дня. Оглядел собранные гусеницы, повертел за-

бракованные траки и, не сказав ни слова, пошагал дальше. Зося догнал его, дурашливо уцепился за рукав.

— Новичок оценки ждет... Похвала его вдохновит на новые свершения,— торопливо заговорил он, стараясь казаться шутником. Пашин остановился, и Зося опустил руки по швам.

— Сделано как полагается,— спокойно ответил Пашин, стараясь не показать раздражения.— Видно, что цену гусенице знаешь. Ты ведь тракторист?

— Со стажем сложных работ в тяжелых условиях...

— Недели две кувалдой помашешь, а там тебе машину дадут,— говорил Пашин спокойно. Но не выдержал: — И не юродствуй. Здесь не паперть. И ты рабочий теперь. Рабочий. Понял?

Зося долго глядел вслед мастеру, недоумевал и злился. И на себя и на Пашина. Какая-то правда в его словах была, смутная, но правда.

Неделю возился он с гусеницами. Чубенко, как на грех, уехал в командировку и задержался дольше, нежели обещал. Поэтому Зося несказанно обрадовался, когда воскресным утром слышал тяжелые директорские шаги и добродушный его бас, сразу наполнивший Зосю надеждой на лучшее будущее. Он кинулся открывать перед Чубенко двери, почтительно кланялся, весьма похоже представлял усердного городского швейцара, к которому пришел давно знакомый клиент, не жалеющий чаевых.

— Ты и у дверей не служил ли?— весело загрохотал Чубенко.

— Мы все можем,— кланялся Зося. Но тут же распрямылся.— Это я тренируюсь, на всякий случай. Поскольку в вашей ММС квалифицированного механизатора используют как самую черную рабсилу.

— Вот и ладно,— добродушно басил Чубенко.— Значит, пользу нашей ММС ты уже приносишь.

— Да ведь с этими гусеницами любой охламон справится! А я?.. Уж и мастера вы себе нашли — Пашина этого. Он вам накомадует. Все от него разбегутся, кто с правами. Я уж только ради вас его терплю, давно бы плюнул.

— На Пашине все наши мастерские, покамест временные, держатся. И народ его ценит, учти,— невозмутимо отвечал Чубенко.— А первые береги на командировку.

Завтра получишь деньги и поедешь в область за трактором. Твоим оп будет. Так что принимай машину и гляди в оба.

— Это мы сделаем,— сдавленным голосом заверил Зося. Вот уж не ожидал. На душе у него сразу посветлело.

7

За трактором он съездил без приключений, если не считать того, что снабженцев он обманул и пригнал почти повенскую машину с гидравлической навеской и бульдозерным ножом. Чубенко то восхищался Зосиной ловкостью, то тревожился. Боялся, что ошибка скоро обнаружится и бульдозер у них отберут. А Зося уверял, что такие дела обратного хода не имеют, и не ошибся. Из области только поругались по телефону и оставили.

Из командировки Зося вернулся с покупками: привез две брезентовые робы и такие же голицы. Вечером разложил одежду на столе, ревизуя каждый шов.

— В скупочном брал. Ясно, что алкаши загнали казенную спецовку на опохмелку,— вслух рассуждал он.— Государственные вещи! Им износу нет. А продают-покупают за копейки. Магазин с барыгами вершит. Ну, правильно это?

Чубенко слушал и улыбался. А Василий поеживался. Зосину критику он частично принимал в свой адрес, поскольку перешел работать в ОБХСС.

Они редко коротали вечера втроем. Но, собравшись вместе, случалось, травили анекдоты и зубоскалили.

— И чего ты, Изосим, не женишься?— приставал Чубенко.— Супруга в доме прибрала бы. Самого бы тебя отмыла.

— Не хватало хомута на шею! Мне и так некогда, а тогда что будет?— охотно поддерживал разговор Зося, обычно и вечерами находивший себе дело. По старой памяти, соседи снова потащили к нему рваную обувь, изломанные замки, керогазы и дырявые самовары. И он никому не отказывал. Все спорилось в его руках. Тройки за работу он принимал равнодушно. Больше всего ему хотелось показать людям, что он хоть и хохмач, но в душе — человек серьезный, надежный и обстоятельный. И жильцы вроде верили. Тем более ремонтировал Зося на совесть, этого у него не отнимешь.

— Без жены и без детей ты еще не человек, а так — зелень, — не отставал Чубенко. — Жизни по-настоящему не поймешь без семьи. Я тебе такую жену желаю, которая б увидела, что руки у тебя золотые и что веселый ты человек. И зажили бы вы ладом. И стал бы ты окончательным человеком.

— А ты — человек уже?

— Само собой.

— А кто тебя человеком сделал? Жена? — осторожно схищничал Зося. — Ты вот женат. А где твоя половина? Чем занимается? Знаешь ли?

— Знаю, — ответил Чубенко по возможности уверенно. — Она у меня умница. Медицинский институт кончает. Там нельзя без отрыва. Станет она врачом — мне и о здоровье не надо думать. Сто лет проживу. Ищи и ты медичку.

— С отрывом... от мужа, ха! — негромко высказался Зося.

Чубенко на минуту умолкал. А милиционер Василий сидел с напряженным лицом. На такие темы он не говорил. Считал Василий, что о невестах, женах и вообще о всех таких делах — не шутят и откровенно не говорят...

На другое утро Зося задумчиво расхаживал вокруг бульдозера, крепко сжав усохшие губы. А Чубенко сидел в своем временном кабинете и сочинял приказ. Сочинял и рассуждал вслух, поглядывая на своих ближайших помощников.

— Есть у нас самая выгодная работа — рытье прудов. Расценки там — озолотиться можно. Думаю, надо послать на эту работу Зосима Березкина. Пусть подзаработает парень, а то гол как сокол. Сирота. Опять же в командировке семейный человек долго не выдержит. А Березкину в город рваться не к кому. В самый раз для него это дело. Да и за бульдозер ему надо спасибо сказать.

— Рано ему такую волю давать. Сорваться может, — подал голос Пашин.

— Следить будем, — веско сказал Чубенко. — И парня нужно скорее к настоящему делу прислонить. А то свихнется...

8

Зося два вечера выслушивал наставления Чубенко о том, как ему надо вести себя в колхозах. «Главное — держи марку и высоко неси честь. Ты первый наш пред-

ставитель перед массой заказчиков. По тебе будут судить о ММС. Очень будут и к тебе, и к твоей работе приглядываться. Чувствуешь?» — внушал Чубенко.

— Все будет в ажуре, — уверенно отвечал Зося, за себя он никогда особо не тревожился.

Днями он пропадал в мастерских, делал бульдозеру профилактику и всю накопленную хитрость использовал для того, чтобы заполучить побольше запчастей. Но оказалось, что запчасти тоже в ведении Пашина, а Пашин отказал Зосе наотрез, заявив, что на бульдозер, только что прошедший капиталку, запчастей не полагается. Зося разозлился, но смолчал. В последний вечер перед долгой командировкой он сходил на могилу матери. Стоял возле нее недолго, удивляясь тому, что думает о бульдозере, Пашине и вообще о работе.

Наступило утро отъезда. Зося пришел к мастерским чуть свет. Еще раз обшарил, опробовал всю машину. Все было в порядке. Зося утвердился в кабине, распрямил сутулые плечи и послал бульдозер вперед. Гордость и нетерпение захлестывали его. Бульдозер играючи подминал под себя разбитую весеннюю землю. Вот и временные ворота ММС. Под ними обширная лужа. Зося подумал, что надо изловчиться и проехать поаккуратнее, чтобы не заляпать машину грязью...

В первом же колхозе, когда Зося остановился возле конторы, председатель вышел встретить его на крыльцо. Зося приосанился. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — председатель этот хитрец и пропыра. Состязаться с такими Зося любил и приготовился к переговорам.

— А мы-то ждем, ждем, — радушно заговорил председатель, провожая Зосю к своему кабинету. — Не отпустим теперь тебя, дорогой мелиоратор, пока ты нам все не сделаешь. Гляди, — сказал он, подводя Зосю к карте. — Вот двадцать деревень. Если по одному пруду в каждой вырыть — сколько будет? Двадцать. Четыре села с перспективой. Там надо от двух до трех водоемов, так по генплану. Плюс четыре пруда возле ферм и штук... — он на мгновение задумался, — штук восемь на пастбищах. Устраивает такой объем? — И председатель задорно глянул на Зосю.

Зося сидел и рассматривал не карту, а председателя, пузатого и плешивого, в засаленном пиджаке с наградными колодками. Энтузиазм председателя ему нравился. Но

надо было еще знать, что за этим энтузиазмом. Настроение у Зоси было превосходное: его восхищало, что с ним так вот запросто и уважительно толкует председатель большого колхоза. Да какое на равных! Председатель заискивает перед ним. Это Зося быстро уловил и решил вести себя как можно внушительнее.

— С размахом жить веселее. Народ это любит,— сказал Зося чуть иронично, словно намекал председателю на вещи, понятные им двоим.

Председатель кинул на него изучающий взгляд.

— Ты покажи, где начинать,— тотчас проговорил Зося, опережая вопрос председателя.

— И не отдохнешь?— честно удивился председатель.

— Я сегодня еще не работал. Не от чего отдыхать,— строго сказал Зося.

— Ну, ежели так,— председатель остановился, что-то обдумывая.— Ежели так, то... вот он, первый пруд.

Председатель выбросил руку к окну. Но этого было мало. Он с треском распахнул раму, показывая той же рукой на улицу. Зося подошел, не стесняясь, лег брюхом на подоконник, словно был дома. Перед ним зияла невеликая серая низинка. Трава в ней не росла. Дно ее было усыпано ломаными тележными колесами и рваными автопокрышками, наполовину засосанными грязью, мятыми ведрами, бутылками.

— Углуби этот бывший водоем на метр-полтора. Это и будет первый объект,— любезно пояснял председатель.

«Под самым носом объект нашел,— подумал Зося.— Я буду в грязи копать, а он наблюдать из-за косяка... Хитер, хозяин».

— Ну что ж, посоревнуемся!— громко сказал Зося, распрямившись во весь свой рост.

— С кем?— быстро спросил председатель, и Зосе показалось, что хозяин читает его мысли.

— Со сферой обслуживания,— продолжил свой намек Зося.

Председатель мелко хохотнул и тут же прикрыл рот ладонью.

«Кажется, дошло»,— удовлетворенно подумал Зося и деловито пошагал на улицу.

Через минуту под окнами колхозной конторы взбесившейся сорокой застрекотал пускач. К его треску скоро добавилось басовитое чиханье дизеля. Зося не волновался,

хотя вовсе не представлял, как роят пруды. Он был накрепко уверен в себе. Он тронул бульдозер с места и не удержался от озорства. С грохотом и на хорошей скорости он дважды объехал вокруг конторы, не без улыбки замечая, как плющатся на стеклах испуганные лица. А председатель высунулся из окна по пояс и недоуменно таращил глаза.

«Пусть-ка старый хрен ломает плешивую голову, для чего я это... Ни в жизнь не догадаться ему», — беззвучно хохотал Зося, направляя бульдозер к усхошему пруду.

Работа пошла неожиданно легко. Слои за слоем сдирал Зося черный замусоренный ил и выталкивал его на берег подалее от конторы. Новизна дела и удовольствие от того, что все получается неплохо, захватили Зося. Он начисто забыл о хитром председателе и о его окне.

День уже клонился к вечеру, когда Зося закончил выравнивать дно, и только теперь заметил, что возле пруда собралась толпа. Зося поддал газу и эффектно вывел машину на лужок. Устало вылез из кабины, размял затекшие ноги, закурил, прислонился к посветлевшему бульдозерному ножу и прищурился на толпу с легкой усмешкой. Толпа вслух восхищалась и прудом и Зосей. Подошел председатель, сияя улыбкой и лысиной, затряс в ладонях Зосины руки.

— Победил ты меня в соревновании! — негромко, чтобы не слышали другие, сказал он, заговорщицки подмигивая.

— Не о том слова, — осадил его Зося. — Я же без обеда!

— Все готово! — воскликнул председатель. — К лучшей хозяйке тебя определили. Но минуточку задержимся. Ничего пруд получился, аккуратный. Только вот горка эта, а? Неживописно. Горизонт закрывает и... палки, грязь...

— Не я бутылки в ваш пруд бросал, — парировал Зося. — Ты, хозяин, эту горку благоустрой и озелени методом воскресника. Трибуны на ней поставь, как на водном стадионе. Будешь оттуда наблюдать, как твои колхознички купаются. Особенно, если женский пол. И меня будет чем вспомнить.

Председатель икнул. У него высоко поднялись брови. И жесткие складочки шевельнулись у рта.

— Веди ужинать, хозяин! — хохотнул Зося и крепко хлопнул председателя по плечу. Тот едва устоял. — А заодно и пообедаем.

Председатель сам привел Зосю к хозяйке и представил ей. Никогда, пожалуй, не бывало у Зоси такого отличного настроения. Лучшего, кажется, и быть не может. А оказалось — может.

Зосю принялись кормить. Поданные в первую очередь оказались такими наваристыми, каких он не пробовал отродясь. И не плосконькую столовскую тарелку поставила перед ним хозяйка, а просторное эмалированное блюдо. Зося «переплыл» это озеро и осушил его. Умял со щами полкаравая. Подумал, что с деревенского народа спрашивать больше нечего. Случись так, Зося и не обиделся бы. Попил бы воды и лег спать. Но хозяйка, следившая за ним из-за занавески, вынесла и второе блюдо, такое же большое, до краев полное горячей баранины. Зося чуть не застонал от удовольствия. И все же виду не подал, только руки потер под столом. Справился и с мясом. А хозяйка уже ставила перед ним кринку топленого молока с такой аппетитной оранжевой пенкой, что не отведать его было преступно. Зося выпил и молоко.

Уснул Зося сразу, как только лег, успев лишь подумать: «Вот это жизнь!.. А не разыгрывает ли меня плешистый черт?.. Нет. Когда разыгрывают — так не кормят. Зря, пожалуй, я его запанибрата...»

Он вырыл в этом колхозе все пруды, какие требовалось, но председателя больше не встречал. Видимо, избегал его председатель, хозяйский мужик. И Зося еще раз подумал — зря.

9

Работа в колхозах казалась Зосе триумфальным бульдозеропробегом. Только что хлебом-солью его не встречали, не натягивали поперек дороги красную ленточку и не устраивали митингов. Остальное все было.

Ему радовались председатели и даже бухгалтеры. И Зося удивлялся, что все они разные и с виду и по характерам, но чем-то неуловимо похожи один на другого. Радовались ему и заведующие фермами, и пожарники, и пастухи.

Оно и понятно: вода на селе, куда ни кинь — позарез. Скотине попить, бочки замочить, бабам половики постирать, гусям поплавать... Ну и от пожара. Нет жизни без пруда!

Зося видел, что центральные усадьбы колхозов разрослись, еще издали хвастают свежими срубамн, крашенными крышами. А старые пруды заплыли, превратились в грязные болотинки, а то и начисто высохли.

— Как же раньше-то мужики пруды копали, когда бульдозеров не было?— размышлял Зося.— Неужели все заступом, а землю носилочками оттаскивали? Как же еще? Ничего себе работенка была!

Он усмехался, представляя такую работенку. И в такую минуту сердился, если бывалые мужики, случалось, глядели на его работу без особого удивления.

Он сполна сознавал важность своей миссии, и на него напала вроде лихорадка. Не то чтоб он гнался за длинным рублем, нет, хотя и эта сторона дела его интересовала. Он как-то сам по себе уверился, что заработает тут немало, и даже не спешил узнать — сколько, сознательно отодвигая этот приятный момент. Главное — пришлось ему по душе сама работа и людской частокол по будущим берегам. И готов был Зося выкопать все пруды, какие только вздумается иметь окрестным деревням.

Огляделся он, приноровился и поставил себе задачу — каждый день делать один пруд. С такой задачей он стал справляться: утром начнет и к вечеру сделает. И до того бывал доволен, что готов был петь и плясать вокруг бульдозера, целовать его в теплый радиатор. И сплясал бы, если б никто не видел. Зося с удивлением понял вдруг, что озорства никогда не стеснялся, а вот радости, простой рабочей радости своей — стесняется.

Колхозы, словно соревнуясь один с другим, не скупилсь на харчи. Зосю подсаляли к самым хлебосольным хозяйкам. Никогда не питался он так сытно, никогда еще не работал с таким удовольствием и не чувствовал себя столь спокойно и уверенно. Даже сутулость его поубавилась, и с лица он стал посвежее, раздобрел и окреп.

Председатели, нередко проезжавшие мимо, останавливались и оценивали его работу, переманивали к себе, козыряя договорами с Чубенко и тем, что деньги за предстоящую работу уже переведены на счета ММС. Иные приглашали даже на секретную выпивку с разговором. Но Зося держал марку.

Но что было самым упоительным — так это свобода. Чубенко со своей бухгалтерией и незаменимым Пашиным казались столь далекими, что иногда Зосе думалось, будто

никакой ММС и нет вовсе, а все дела вершит только он, Зося, умелый бульдозерист, которого все уважают и которому везде рады. Да и народ деревенский пришелся ему по душе: доверчивый, на Зосины шутки отзывчивый.

Он не заботился, как выполняется у него план. Да и не знал, как учесть и перевести в кубометры, проценты и рубли вырытые ямы и бесформенные горы земли. Слышал, правда, что путешествует по его следам учетчица, но это его не волновало. Он хотел знать только свое дело и делать его, делать, пока щелкают бульдозерные траки. Лишь месяц спустя он узнал, что нормы перекрыл почти в три раза. И вручили ему такую получку — сами кассиры в деревню из ММС привезли — какую он прежде не зарабатывал и за полгода.

— Да ведь как же это? — верил и не верил себе Зося. — Ведь можно и еще поднажать, если по совести, — можно еще. Тогда что же получится?

Зося вдруг начал считать, мотал головой и зажмурился, чтобы вернуть себя к реальности и убедиться, что все это не сон. Он принялся гонять бульдозер из деревни в деревню на самой большой скорости, нетерпеливо покрикивал на деревенское начальство, требуя немедленной работы. И даже на обеде не снимал с себя умазанную глипой и маслом робу, руки не отмывал дочиста неделями.

На втором месяце такой работы к нему приехал Чубенко.

— Ты бы хоть дом навестил, — весело заворчал он, изучающе разглядывая Зосю и бульдозер. — А то простенок в хате вываливается. Перед народом стыдно.

— Стыдно — так почините, — заявил Зося, радуясь встрече. — А ты-то пошто, директор?

— Да так. Проведать. И по поручению рабочкома. Вымпел ты заработал и премию за месяц, — важно сказал Чубенко. — Поздравляю.

Зося аж задрожал от удовольствия. И радостно ему было и смешно представить, как он газует по грязище, а на кабине болтается аленький шелковый косячок, который Чубенко собственноручно приладил к бульдозеру, разглядев, что ладони у Зоси чернее мазута.

— А премия-то сколько? — не утерпел Зося.

— Пять рублей. За месяц больше не бывает. Положение такое. А если за квартал победишь...

Зося не дослушал. Он спал пятерку и бросился прочь. Чубенко и в себя прийти не успел, все еще таращил глаза и недоуменно топтался возле «козлика», когда Зося вновь оказался в поле его зрения. Теперь Зосина фигура двигалась помедленнее, и было заметно, что за пахуой он что-то придерживает.

— Ты чего?— строговато спросил Чубенко.

— Зайди ко мне! Хоть на пару минут. Поглядишь хоть, как живу. Одичал я без своих. Не с кем словом переброситься,— горячо упрашивал Зося, увлекая директора за собой. И было в лице Зоси что-то такое умоляющее и беззащитное, что поддался Чубенко, пошел.

Посадили директора в переднем углу. Хозяйка положила ему на колени расшитое полотенце. Вдохнув аромат раскаленных щей, увидев тарелки с мясом и творогом, Чубенко не мог понять и припомнить, каким образом очутились в его руках вилка и ложка. Не сказал он ни слова и не подумал ничего предосудительного, когда Зося стукнул донышком поллитровки о стол да еще добавил с хохотком:

— Премия!

Они выпили и по первой и по второй. Не опьянели ни чуточки. Наговорились всласть. При этом Зосины глаза блестели влюбленно. Сиял и Чубенко, словно встретился с младшим братом, которым можно гордиться и по которому сильно соскучился.

Провожать Чубенко вышла даже хозяйка.

— Не зарвись только,— тихо сказал на прощанье Чубенко.— Не натвори чего...

— Ну, пока-то — порядок?— спросил Зося.

— Я доволен,— сказал Чубенко.— И рабочком всерьез доволен,— добавил он с непонятым значением.

— Ну так и я доволен,— хохотнул Зося.

«Козлик» укатил. Зося еще долгонько стоял на дороге, а хозяйка на крыльце.

— До чего мужик-то хороший! Видный, а простой,— сказала хозяйка, когда поскучневший Зося подошел к дому. И усомнилась:— Директор ли он?

— А кто же!— рассердился Зося. И слегка приврал:— Но он не с каждым так... У нас с ним дела особые.

Хозяйка не обиделась на сердитые слова, поглядела на Зосю с уважением и с этой минуты называла его на «вы».

Уже в двадцатой, наверное, по счету деревне к Зосе подошел полненький дядька и завел разговор, зыряка всевидящими глазами то на бульдозер, то на ловкие Зосины руки.

— Один работаешь?

— Нет, с машиной,— не очень-то дружелюбно отозвался Зося.

— Одному хорошо,— заговорил дядька.— В артели или в бригаде честный работяга всегда за лодыря, за очкастого растяпу или за инвалида ипачит. Обязательно кто-нибудь на трудовой шее едет. У нас всегда так: половина работает — половина мешает, работников объедает. А одному — благодать.

Зося был в этот вечер не очень чтобы весел. Устал. Вспоминался город, хотелось поразвлечься, нового чего-то хотелось. И он с интересом глянул на дядьку, который завел недеревенские речи. Выглядел дядька тертым. Глазки острые, неуловимые. Лицо — холеное, с усмешечкой. И заметно было, что еще здоров он, как бугай, хотя чувствовалось, что ему явно за шестьдесят.

— А ты себя любишь,— сказал Зося, в надежде сбить дядьку с толку и взять инициативу в свои руки.

— А ты нет?— усмехнулся дядька.

— Я бульдозер люблю,— уклонился Зося от прямого ответа.

— Правильно делаешь. Он тебя озолотить может.

Уже не первый раз слышал Зося «озолотить», и слово это то раздражало его, то отзывалось в душе неясным ожиданием. Поэтому он на всякий случай спросил дядьку:

— Когда про золото, сразу хочу знать: где лежит.

— Слушай, если не знаешь. С учетчиком-то своим знаком? Нет? Ну и дурак. Заведи знакомство. Поближе сойдись. Он тебе выработку в полтора раза больше запишет. Колхоз ведь все равно не знает, сколько ты накопал. Никто обмерять не будет. Сколько запишет учетчик — столько и будет, такой и расчет, и зарплата. Начальство спасибо вам скажет за высокие показатели, цифрой козырять будет. Все это и мамээсу твоему выгодно, и лично тебе. Дошло? Ну и учетчика отблагодаришь, чтоб у него был интерес... не без того.

— Это чьи песни?— с недобрый намеком спросил Зося, без нужды копаясь в двигателе и отворачиваясь, чтобы дядька не видел его лица. А на лице у Зоси был веселый интерес к дядькиным советам.

— Не прячься. В порядке мотор. И на испуг меня не бери,— со вздохом сказал дядька.— Мне бояться нечего. Научить тебя хочу уму-разуму, только и делов...

— Учи,— сказал Зося самым равнодушным тоном.

— Первый путь я тебе открыл,— сказал дядька, сузив глаза до едва заметных щелочек. Сказал и замолчал, но уходить явно не собирался.

— А что, второй есть?— небрежно спросил Зося, которого раздражала фигура прилипчивого дядьки, замолкшего на самом интересном месте.

— Есть еще. Своим горбом, но без издержек,— сказал дядька.

— Конкретнее, учитель,— попросил Зося.

— Конкретнее ты бы мог за сегодняшний вечер положить в карман тридцатку чистыми.

— Мог бы я...— Зося хохотнул.

— Плохо хочешь.

— Почему? Я готов. Где лежит?

— У меня в кошельке.

— Это не по моей части. Не карманник. Руки у меня видишь какие? Не позволяют.

— И все же она твоя.

— Отдашь — будет моя.— Зося снова хохотнул, но притворно. Шуток над собой он не любил. Дядька оказался на раскол крепким и держал инициативу. Быть в подобных ситуациях Зося не привык. Обычно он любого противника сражал своими словечками, но сейчас не приходило в голову ни одной достойной мысли. Устал, что ли, за день? Зося злился и в то же время слышал, как дядькины предложения сверлят ему мозг. Их надо было понять до конца, хотя Зося знал, что заводить делишки с учетом никогда не будет.

— Пошли,— решительно сказал дядька.

Зося хотел поломаться. Ниже своего достоинства считал он идти вот так сразу, с первого слова, за незнакомым, который к тому же хорохорится и поучает.

Но дядька уходил, не оглядываясь, лишь помахивая легонько рукой, словно указывая Зосе маршрут. Фигура дядьки была преисполнена солидности и уверенности, что

Зося обязательно пойдет. Это злило еще больше. Но и делать-то было нечего. «А что? И схожу. Из любопытства схожу»,— решил Зося и пошел.

Дядьку он умышленно не догонял, чтобы не думали люди, будто повели его куда-то, как глупенького. Дядька зашел в палисадник перед своим, видимо, домом и пропал за кустами. Зося шмыгнул в ту же калитку и только теперь прибавил шагу.

Они вошли в огород. Пробираясь за хозяином между грядок, Зося сорвал огурец, захрустел им. Дядька оглянулся на хруст, но, казалось, не обратил на это никакого внимания. Зося изловчился и зачихал в карманы еще пару огурцов. Из озорства сделал, чтобы досадить дядьке. Огурцами его кормила до отвала хозяйка.

— Видишь вот этот клочок?— спросил дядька, останавливаясь возле задней изгороди и показывая на луговинку.

— Ну и что? Тут горшок с золотом зарыт?— спросил Зося.

— Точно,— подтвердил дядька.— Этот лужок дает мне полтора пуда сена за два укуса. То есть — гроши. А если на этом месте организовать прудик — я буду иметь карасей, жаренных в сметане, и воду поливать грядки. А ты — тридцать карбованцев казначейскими билетами. И мне, пенсионеру, приятно, и тебе, как работяге, не повредит. Уловил?

— Уловил,— протяжно сказал Зося, раздумывая.

— Так чего же мы стоим?

— А когда мне по шапке дадут за это, кто меня защитит?

— Никто, шапка твоя не пострадает.

И дядька снова завел длинную нудную речь, близко подступая к Зосе: мол, не в рабочее время трудился, и так далее.

Зося улыбнулся и заявил:

— Кончай разговоры. Я мигом. Разбирай изгородь.

Дядька сразу умолк, поднатужился и поволок в сторону целое прясло. Зося скорым шагом двинулся к бульдозеру.

...Через час Зося сидел у дядьки в гостях. Дядька представился ему Ефимом Дорофеевичем. Зосе тоже пришлось назвать себя: Изосим Изосимович.

— Да мы же оба наречены по-старинному!— восхитил-

ся дядька.— Значит, и закваска в нас старая, крепкая должна быть. Так.

Зося неопределенно хмыкнул. Пока хозяин расставлял стопки и закуски, он огляделся. Дом у Ефима Дорофеевича был полная чаша. В переднем углу громоздился огромный телевизор, рядом — длинная радиолка на тонких ножках и, похоже, дорогой магнитофон. Мебель — черной полировки. По стенам — ковры. Потолок был выкрашен белилами, а пол блестел голубизной. Этот голубой пол резал глаза и придавал всему дому смутный оттенок неестественности и фальши.

«Не деревенский это тип, точно», — определил Зося. И ему подумалось почему-то, что соседи, должно быть, не любят Ефима Дорофеевича и не заходят к нему.

— Богато живешь, — без одобрения сказал Зося, когда хозяин уселся за стол.

— Бог помог. Да и трудился всю жизнь, — отозвался хозяин.

Они вышли. Дядька неожиданно быстро захмелел и заговорил, близко придвигаясь к Зосе:

— В наше-то время только круглый дурак без денег живет. Ты погляди, сколь их мимо сыплется! И не грешно ухватить да с пользой употребить. Немало ведь их и без пользы пропадает. Не грешно... В руки они должны идти. Тем более в трудовые. Голова только побыстрее должна соображать. Возьми ты меня. Ведь я только пенсию продаю. И то не всю. Остальные финансы лежат где надо, сами себя растят. На этот счет наше государство справедливое.

— И много лежит? — полюбопытствовал Зося.

— Хватит. И останется... Я, браток, был и геологом, и буровым мастером, все ближе к Северу работал. Там, брат, особые деньги людям идут. Но тебе Север не нужен. Твои пути я открыл. И ты бы должен не брать с меня за пруд. Но ты еще глупый, хочешь взять. И я отдам. И третий путь бесплатно открою; будь поближе к начальству, потрафь, понравься ему, дров там случайно привези или еще чего. Верное дело! А с годами переходи в завхозы по линии снабжения или на склад. Это когда ум появится, не ранее. Много, брат, там интересу. Я все это сам прошел. Целая наука. Сколько в тайгу да тундру добра завозили! Сколько бросали! Сколько пропадало его в глупых руках! А у меня не пропадало... Нет! Не пропадало. Да...

— Силен, мужик!— восхищенно сказал Зося, довольный тем, что третий путь — быть поближе к начальству — он уже протоптал самостоятельно и не проговорился об этом.

— Оцени мою науку!— кричал Ефим Дорофеевич, напрашиваясь на похвалу.— Оцени!

— Когда рассчитывать-то будешь!— оборвал Зося его. Дядька сразу протрезвел.

— Эт-то по-жа-луй-ста,— разочарованно произнес он и пошел за перегородку. Там он долговко вздыхал, в руках его что-то шелестело. Наконец он вынес в подрагивающих пальцах пять пятерок, развернутых веером.

— А шестая?— спросил Зося, удивляясь тому, как изменилось дядькино лицо, ставшее ханжески неприятным.

— Тут она!— Дядька ткнул пальцем в Зосин живот.

— Да ведь бутылка-то всего три шестьдесят две стоит. А пили на двоих!— запротестовал Зося без всякого возмущения, а просто из интереса, как будет выкручиваться бессовестный дядька.

— А закуска? А хлопоты мои? А огурцы? От одного твоего мазутного запаха грядки повянут! А ты ручищей! За ботву! А наука?— то ли всерьез, то ли в шутку, но запальчиво доказывал Ефим Дорофеевич.

Зося хохотал в открытую. «Комик! Артист! Ну — комик!»— выкрикивал он. Деликатно заливался смешком и хозяин.

— Ну, привет тебе, бизнесмен. Всю жизнь перекрою по твоим советам!— попрощался Зося, утирая выступившие слезы.

— Не прогадаешь, хе-хе!— вторил ему дядька.

— Это точно,— соглашался Зося. И вдруг Ефим Дорофеевич посерьезнел, нагнал скорбь на лицо. Зося уставился на него, ожидая новой потехи.

— Не пойму я. Или ты отпетый дурак, или шибко умный, или просто нахал,— проговорил хозяин.

— Считай, что шибко умный,— ответил Зося.

— Допустим,— сказал хозяин, задумчиво поднимая брови.— Тогда слушай мою последнюю просьбу, если умный. Что ты вырыл мне прудик, завтра будет знать вся деревня. Да и сегодня, считай, знает. Завтра попросят тебя сделать и другие. И никто не попрекнет, спасибо будут говорить и деньги совать. Не отказывай людям. Но есть тут одна личность, не связывайся с ней. Марьей

Ивановной ее зовут, активистку, так ее... Много крови она попортила. Пруд ей нужен позарез, потому она всю жизнь уток разводит. Не рой ей пруда. Она тебя попросит, она на тебя и донос напишет. Остерегись. Ты не подневольный. А остальным, что ж, остальным можно.

— Ладно. Привет,— сказал Зося и пнул ногой дверь. Дядька ему окончательно надоел.

Над деревней стояла ясная июньская почь. Но Зосе было не до красот. Он устал и ругал себя за то, что связался с этим типом. Но пятерки, хрустевшие в кармане, настраивали на мечтательный и несколько авантюрный лад. Они поднимали настроение и помогали воображению рисовать картины яркие, хотя и не совсем ясные.

Наутро Зосе надо было уезжать, но его упростили задержаться. И он полный день рыл пруды в огородах. От хозяйки узнал, что Ефим Дорофеевич был когда-то в этой деревне бригадиром, но в самые тяжелые для колхоза времена внезапно исчез. Удрал ночью, без всяких справок. Вестей от него не было больше двадцати лет. Жена померла. Единственная дочь давно вышла замуж в город. После него в деревне бригадирствовала Марья Ивановна, заслужила орден и вышла на пенсию. И вот появился недавно этот Ефим Дорофеевич обратно в свой дом с двумя грузовиками добра. И не дружат теперь, друг друга видеть не могут два бывших бригадира.

Зося бесплатно вырыл пруд хозяйке. И хотел было распрощаться, когда вспомнил про Марию Ивановну.

— Ей больше всего пруда хочется,— сказала хозяйка.— Да хворает она, из дому не выходит. И уток соседка кормит.

Зося тут же принял решение. Он подъехал к дому Марьи Ивановны, оглядел подворье и сам выбрал место для пруда. Рыл старательно, аккуратно разровнял землю на берегах и напрямик двинулся в новую деревню. Время от времени он прикладывал ладонь к груди, нащупывая в потайном кармане плотную пачку денег и удивляясь своей разворотливости.

11

Слава путешествовала вместе с Зосей, оставалась на следах бульдозера, частенько опережала его маршрут и неуклонно росла. Он установил для себя новый распо-

рядок: днем рыл пруд для колхоза, вечером — в огороде какого-нибудь сельского жителя. Но предложений от частного сектора было много. Теперь к ночи он почти всякий день пил с хозяином нового пруда магарыч. Хрустящие червонцы принимал без счета, комкал черной рукой и запихивал поглубже в карман, чтобы не выползали.

Нельзя сказать, что совесть его оставалась совершенно спокойной. Но он умирал ее робкие вопросы тем, что прудик в огороде деревенского жителя — дело благое, а бульдозер для того и создан, чтобы на нем работали. Если бульдозер будет стоять — какой от него прок? К тому же Зося о плане не забывал, перевыполнял. А левые деньги — что ж — они такие же, как и правые, в одной силе. Да и не краденные они, своим горбом заработанные.

Пачка денег пухла. Она уже не давала покоя Зосе. И до того довела, что случилось с ним диковинное. Ехал он по знакомому большаку. И вдруг заколотилось сердце. На всем ходу Зося выключил сцепление, сиганул в кювет. Долго расстегивал трясущимися руками брезентовую полевую сумку, много раз обшаривал все карманы. «Деньги ведь счет любят. А они у меня, как фантики конфетные. Разве так можно!» — шептал он, разглядывая бумажки и складывая их в стопки. Он поминутно вертел головой, вглядываясь в оба конца дороги — не едет ли кто. И сбивался со счета. Запомнил общую сумму, перевалившую за тысячу рублей, еще раз поразился, что денег так много. А сколько их будет к концу лета! А через пару лет!

Успокоился не скоро. А пожалуй, и не успокоился совсем, скребло душу мутное предчувствие. Теперь его пугало, что он не владеет собой. Понимает все, а идет по домам и спрашивает, не надо ли кому вырыть прудик. Замечает косые взгляды и все равно идет...

В середине лета Зося позволил себе взять выходной. Заявился в город. По пути заглянул во все открытые чайные и буфеты. К дому подходил с песнями, но не очень чтобы пьяный, внутренне настороженный, готовый на балагурство, на хитрость и на жестокий отпор, если надо.

А дом без хозяина глядел сиротой. На крыше подгнила и рухнула стропилина, и половину комнат заливало при любом дожде. Простенок, который и впрямь поровил выпасть на улицу, жильцы подперли бревнышком. Большого они предпринимать не собирались. Не думал о ремонте и Зося.

Он лег на диван и отдался блаженному отдыху. Пришел Чубенко и глядел на него с улыбкой — он ни в чем не мог упрекнуть Зосю, у которого накопилось множество отгулов. Но и здесь его настигли председатели. После какого-то районного совещания они заявили на квартиру к Чубенко. В домашней обстановке деловые вопросы обсуждались за накрытым столом. На правах хозяина уселся в компанию и Зося.

— Если у вас все такие, то с ММС будем дружить, — хвалил Зосю один председатель.

— Когда вы его к нам-то командуете? — спрашивал у Чубенко другой.

— Парень работающий. Только... — хотел что-то сказать давнишний знакомый Зосин хитрец, но Зося вовремя перебил его, странно блеснув глазами:

— Да бросьте вы свои договоры! Скучно. Давайте-ка я расскажу историю. Она как раз договоров касается. — Компания из уважения к хозяину дома примолкла. Зося воодушевился. — Нарыл я, значит, в одной деревне прудов. Уезжать надо. А вроде чего-то не хватает, чувствую, ну — вспомнить нечего! Думаю. И подговорил я тамошних парней организовать мне свадьбу. Девку-то еще раньше сам опел, за два вечера. Вековуха девка, не больно умна. В общем, заключили мы с ней на словах договор. Она два дня закуску готовила, посуду со всей деревни собрала. Парни ящик водки приволокли за мой счет, а потом и сами сбросились, поскольку потеха общая. Народу набежало! Бабы так и напирают на столы, того гляди, все окувырнут, и вот нахваливают меня: счастье, мол, девке привалило негаданное, такого золотого работника в деревне и не видывали. Ну и пошла гулянка. «Горько» кричали раз сто. Песни орали, пока глотки у всех не заболели. Плясали — все половицы раскачали до скрипу. А я чую — пора, а то положат спать — и не отвертеться. Вышел я на крыльцо, вроде на минутку, а сам шасть в бульдозер — и деру! Они там поют-заливаются, невеста коровой воет, не знаю — от страха или от радости. А я под такую музыку шпарю уже по другому сельсовету. Ночь напролет ехал, к утру на другой край района попал. И сразу за работу, честь по чести. Вот как дела-то делать надо по договорам. Теперь есть что вспомнить, людям рассказать. Хоть мне, хоть невесте, хоть и всей деревне. И все накормлены, и напоены все.

— Да ведь врешь! — сомневалась компания, насмеявшись.

— Да точно! — уверял Зося.

— А в какой деревне было?

— Не могу пока сказать... секрет... пускай дело остынет маленько...

Председатели скоро разъехались, а Зося лежал на диване и благодумствовал. Никто из председателей его не выдал. Будущее казалось ему цепью сплошных удач. Воображение рисовало, как он получает удобную казенную квартиру, как ему выдают солидный куш за снос дома, как он расписывается за громадную получку, за премию и берет густые червонцы за халтурку.

Он еще не знал, что безмятежности его приходит конец, что через неделю привезут его с жестокой простудой и что с этого момента начнутся в его судьбе крутые перемены, которые заставят не раз трудно задуматься над жизнью, радоваться и страдать...

12

Зося не знал, сколько времени лежит он в нетопленном доме. В одну из редких минут просветления услышал, как под окном остановилась машина. Хлопнули дверцы, в сенях застучали шаги. В комнату вошел человек в белом халате. «Сжалился кто-то, «скорую» вызвали», — слабо подумал Зося.

Врач повертел его с боку на бок, послушал хрипы в груди, нахмурился. Выписав рецепты, он оглядел Зосино жилище и, неодобрительно поджав губы, вышел. Промела под окном машина. Зося лежал. Идти за лекарством было некому.

Зося плохо переносил жар. Болело все сразу. «Зачем же позволяется, чтобы человек так мучился?» — спрашивал он неведомо кого, а вернее — жаловался. И начинал соображать, что жизнь устроена грозно и не так понятно, как ему казалось раньше, хотя он и думал, что повидал и узнал немало. Пропала обычная Зосина бесшабашность. Или растаяла она, при высокой температуре...

Вспомнил отца, а заодно и мать. И с обидой упрекнул их, что родили они его не в радость, да еще и нарекли словно на смех людям — Изосимом. С таким именем не

прожить по-человечески, жену порядочную не найти, потому что шарахаются нынешние девки от такого имени. Он и случай с вековухой придумал, чтоб себя утешить. «Да и за что должны любить меня люди, помогать и жалеть? — мрачно раздумывал он. — Не за что... Каждый человек — кузнец своего счастья. Вот и куй его, Изосим, семь на восемь... И не пеняй. Ты сам-то много ли добра сделал? А объегорить — на это ты мастер, это — пожалуй-ста...»

Мысль на какое-то время терялась. Сознание и, казалось, сама жизнь покидала его. Но в мозгу снова начинали копошиться вопросы. Они назойливо стучали, стучали в виски, и не прогнать их было, не отвлечься делом, потому сейчас одно дело было у Зоси — болеть.

«С чего же я заболел? А! Вырыл пруд тому одноногому колхознику, выпил с ним. И прилег на минутку за бульдозером. Место было вроде сухое, на солнышке, в головах — солома. А проснулся — дождь. Лето еще не кончилось, а до чего холодный был дождь — ледяной! Колотун! И жар теперь. И никто не виноват, сам достукался... А как мать-покойница долго болела, а я и не понимал, что больным так плохо...»

Зося забылся. Утихли назойливые вопросы. Ничего не стало...

Он проснулся и сразу понял, что рядом кто-то есть. Наверное, оттого и проснулся. Заметил, что рецептов на табуретке уже нет. А возле постели стоит небольшого роста женщина. Похоже, молодая и красивая. На такую красоту и глядеть неловко. Зося услышал, как его лицо, и без того воспаленное, еще больше занялось краской. Прикрыл глаза. Может, все мерещится? Нет, рецепты исчезли, они белые, он бы заметил... Кто же она?

...Зосе нравились девки попроще и не шибко красивые да модные. И хотя ни с одной он еще не сходилсь близко — считал, что жена у него должна быть крепкой, без интеллигентских замашек и маникюров, а с лица — все равно, но лучше, если не красавица, чтобы не требовала разных ухаживаний и чтоб мужики на нее не пялились.

Глаза у Зоси распахнулись по-настоящему: было время выспаться. И он увидел, женщина выкладывает на табуретку пакетики. Смущение у него прошло — видимо, от слабости. Он молча глядел на гостью. И думал, что она, пожалуй, не старше его. А гостя, наверное, уже нагля-

делась на Зосю и теперь разглядывала дом. Губы у нее при этом поджались почти так же, как у врача со «скорой». Наконец она заметила, что Зося не спит, и спросила:

— Вы один... вот так?

— Один, — прохрипел Зося, но гостья не поняла его и заговорила внятно, словно с ребенком.

— Меня зовут Катя... Тоже в ММС работаю... Меня директор прислал с лекарствами. Вот порошки. В рецептах сказано, как принимать.

— Бульдозер, — почти в бреду протяжно проговорил Зося.

— При чем тут бульдозер? — сказала Катя. — За вашей машиной присматривают, чего о ней думать.

— Деньги! — бредил Зося. Он рванулся, выхватил из-под подушки комья денег... И упал на спину, затих.

Гостья встревожилась. Но Зося уже прятал деньги и глядел на нее осмысленно и недоверчиво. Катя прикрикнула на него и заставила проглотить порошки. Вскипятила чай, напоила его. И Зося заснул. Ушла гостья в задумчивости, часто оглядываясь на Зосин дом.

Вновь появилась она вечером. Зосе уже было легче. Почти не болела голова. Поутих жар. Но еще не было сил встать. Поднять руку, и то было до удивления тяжело.

— Что вы хотите? — спросила Катя.

— Есть, — выдохнул Зося единственное слово. Собрался с силами и сказал еще: — Два дня не ел, хоть чего-нибудь...

Он говорил правду, чувствуя аппетит и еще то, как здорово он ослаб. Даже не верилось, он — бравый Зося — мог дойти до такой беспомощности.

— Если у больного аппетит, можно считать, что он уже поправился, — утешила Катя и пошла в магазин за продуктами, весело помахав Зосе ручкой.

Зося успокоился и стал ждать.

«Ну, из какой корысти она за мной ухаживает? — спрашивал он себя. — Не могу понять. Хотя бабы — народ жалостливый, они мимо не пройдут... А эту еще и начальство направило. Вот и старается. Хотя... Черт их разберет, все эти дела... Хорошо, хоть башка не трещит...»

Чубенко ввалился в Зосину комнату с пузатым портфелем и радостно забасил, увидев, что Зося не спит и не охает.

— Напугал ты нас, — рокотал Чубенко. — Бредишь, кричишь не дело. Но ты об этом не думай. Бред — он и есть бред. Давай вставай скорее, а то план трещит. Бульдозер мы никому не отдали. Тебя ждем.

Чубенко говорил и после каждой фразы выкладывал на табуретку закуски: два круга пахучей колбасы (у Зоси тотчас слюна ударила в язык), увесистый кусок сыра, коробку конфет, булку. С особым удовольствием выставил огромный термос, а под конец подмигнул Зосе и сунул под кровать бутылку.

— Все это освоишь — здоровее прежнего будешь, — заявил он. — И не беспокойся. Бюллетень тебе оформлен.

Зося слушал его почти безучастно. Его мучило недоумение: «За что все это? Что они за люди? Ведь должно же быть во всем ихнем поведении какое-то притворство? Не без расчета же они... Ведь он, Зося, им никто. Ну, Чубенко, работника хочет быстрее на ноги поставить. Катя... А если просто так, от души они? Нет. Зачем им это? Просто так только воробей чирикает».

Зося не додумал. Он съел порционный кус колбасы, выпил поллитровую кружку чаю из термоса, наполовину разбавив его водкой. Ударило в пот. И он снова заснул, не дождавшись Кати.

Утром Зося поднялся и стал собираться на работу. Чубенко замахал руками, вызвал врача, который настрого запретил Зосе выходить на улицу еще самое малое два дня. И Зося сел у окна, дожевывая колбасу и сыр.

13

Погода за окном была такая, словно осень пришла месяца на два раньше обычного. Ветер трепал деревья, которые отчаянно отбивались от него. Казалось, будто с улицы кто-то злой хлещет по стеклам мокрой метлой. Дорога превратилась в сплошное грязное месиво. Сыпал холодный дождь.

А Зося сидел с улыбкой. Он словно заново родился. Сидел, радовался прибывающим силам и пытался думать. Но мысли прыгали и упирались — в бульдозер. Зося тревожился, испытывая к машине почти нежное чувство. В нем осталось благодарное чувство к Чубенко, к Кате, но... перед глазами его сейчас стоял бульдозер. Он уперся в

Зосино окно фарами, обиженно уронил широкий нож, прижался к земле грязными гусеницами...

«Тоскует без меня, бедолага чугунная, — как о живом, думал Зося о бульдозере. — А ведь он для меня, пожалуй, самый друг, железный. На него всегда можно положиться. Не подводил».

И Зосе вспомнились короткие летние ночи, когда он, один-одинешенек, путешествовал от деревни к деревне. Вечерняя заря еще не отыграла, а уж рядом утренняя занимается. Зося грезит вполудреме, а бульдозер ощупывает гусеницами дорогу, объезжает ухабы и урчит ровненько, чтоб не тревожить хозяина.

А как работали! Зося рычит, когда попадает под нож неожиданный валун. И бульдозер рычит, громче, но в тон хозяину. Зося напрягается над рычагами, и бульдозер — тоже. Глядишь — и выкачен валун на берег, а там и в репейники его, в старую яму... Сейчас Зосе казалось, что не столько он, сколько бульдозер не мог кончить работы и отдыхать, пока не подровнены у пруда берега.

— Умница машина, — прошептал Зося. — Ей-ей, умница. Выйду, вылижу всего, смажу, отрегулирую, — мысленно клялся Зося. — Все сделаю, потому как вдвоем мы — сила, а один я — просто трепло.

...В двери деликатно стучали. Зося встрепенулся, крикнул: «Да!» И пошел навстречу.

У порога стояла Катя, закутанная в теплый платок. Только островатый носик и карие глаза ее были открыты. На синем ватнике, на резиновых сапожках блестели крапинки дождя.

— И какая неволя... на такой-то погоде, — с широкой улыбкой приветствовал ее Зося. Он взял холодную, покрасневшую Катину руку и поцеловал ее. И получилось это у него чинно, как в кино. То ли от чистого сердца, то ли опять ради озорства — он и сам не знал. И сам себе удивился.

Катя глянула на него и тихонько засмеялась.

— Вижу, совсем здоров, — сказала она. — А уж до того был плох, я забоялась.

— А к холостому мужику в дом заходить не забоялась? — спросил ее Зося.

— Какой ты мужик! Ты парнишечка, — ответила Катя. И добавила пасмешливо: — И больной. Даже бредил своим бульдозером.

Ей было с ним смешно и просто. И Зося похохатывал, стоя перед ней. Но он торопливо соображал, как все это понять. И ничего у него не соображалось. Для начала решил отблагодарить Катю.

— Позвольте вашу фуфаячку и платочек. Повесим их на гвоздичек. Чай будем пить? — захопотал Зося, разыгрывая фартового ухажера. Катя отдала ему и ватник и платок. — Вот сюда, сюда присаживайтесь, — приговаривал Зося, забегая вперед и дурашливо кланяясь.

Катя поглядывала на него с улыбкой, шла за ним и потуже натягивала синий свитер с белым рисунком на груди.

— Вот газеточка. А я похлопочу, — Зося смахнул рукавом крошки со стола и побежал на кухню. Здесь он окончательно убедился, что потчевать гостью нечем. Оставался один выход — мчаться в магазин. Зося накинул плащ, сунул ноги в литые сапоги и помчался.

Людей в магазине почти не было. И все же Зося прыгал от нетерпения, стучал ногтями по стеклышку своих часов, намекая неразворотливой продавщице... Он купил водки, шампанского, конфет и всяких закусок, какие попались на глаза. Про чай забыл.

— Покажем себя! — вслух ликовал он. Ему думалось, что в магазине он и пробыл-то пару минут. Но когда вбежал в дом — поразился. Столы и стулья в его комнате были сдвинуты в угол, а Катя, засучив рукава дорогого свитера, мыла пол. Зося не нашелся, что сказать, и встал в дверях, боясь шагнуть на чистые половицы.

— Грязи у тебя, как на бульдозере, — сказала, выпрямившись, Катя. — Не могу я видеть, когда такие полы.

— Ин-те-рес-но, — с расстановкой произнес Зося, скрывая замешательство. — А я вот в магазин слетал.

— Видела, — сказала Катя. — Вынеси-ка эту воду да принеси чистой, пока не разулся.

Зосю немножко покорибила такая команда, но ему тут же подумалось, что вовсе не плохо, если пол станет чистым. И он подхватил ведро. Головой помахивал на ходу, чтобы отогнать наваждение, но перед глазами было Катино лицо, разгоряченное работой: румяные щеки, темные блестящие глаза. Эти глаза кололи Зосю. Не хотел он, страшновато было водиться с такими красивыми, тяжело думать о них... Такая всю жизнь будет командовать, а ты

бегай как ишак. И если сладится у них с Катей — какая уж там командировка...

Через полчаса они сидели за столом. От вымытого пола веяло прохладой и давно забытым, волнующим запахом чистоты. Зося крутился и не смел прямо взглянуть на гостью. Одолевало волнение, пугающее, почти запретное.

— Ну, угощай, — усмехнулась Катя, заметив растерянность хозяина. — Я посижу. Меня, может, снова директор к тебе послал, проведать.

— А ты... вы... что, тоже в ММС? — спросил Зося, сбиваясь. Он не знал, как теперь называть Катю.

— Вместе мы работаем, в одной конторе. Только специальность у меня другая. Я — маляр-альфрейщик, — рассказывала Катя. — Но ничего еще не построено в ММС толком, чтоб мне по своему профилю работать.

— А чем же заниматься приходится? — спросил Зося, радуясь, что обошел и «ты», и «вы».

— По мелочам... Таблички разные рисую. Номера на тракторах, эмблемы. По трафареточке. Скучно, конечно. А тебе не надоело еще все время на тракторе и в отъезде?

— С бульдозером мы — пара! — нашелся Зося, отчего сразу повеселел и принялся откупоривать шампанское.

Катя тихо вскрикнула, когда пробка стрельнула в потолок. И Зосе было приятно, что она вскрикнула. «Значит, простой она человек, без выгибонов», — почему-то решил он и разлил вино.

С водки Зося окопчательно пришел в себя и понес веселую чепуху, перескакивая с пятого на десятое.

— Ты всегда такой?.. — спросила Катя, разглядывая его.

— Всегда, — заявил Зося. — Почти.

— И нравится?

— Какой уж есть. Да ты не бойсь, я теплый парепь, по характеру-то.

— Пожалуй, — согласилась Катя. Она обвела взглядом углы и стены, сказала: — Хозяйку бы тебе надо.

— Да не идет никто! — Зося комично развел руками. — Может, ты расхрабришься? А что? И дом есть. И деньги. И еще заработаем. Настоящей хозяйкой будешь!

— А у меня ни дома, ни денег, — сказала Катя, смеясь. — Ведь ты, хозяин, поди, не возьмешь бесприданницу.

Зося понял, что разговор подошел к тому опасному и увлекательному моменту, когда все говорится еще в шут-

ку, по каждое слово моментально взвешивается и всерьез. Его разбирал азарт зубоскала — острые моменты он любил. Но что-то и тревожное, тайное шелохнулось в груди...

— Я и без приданого возьму, — бесшабашно заявил он. — Я человек современный, хотя имя у меня старомодное...

— Ну и как ты с женой думаешь жить? — заинтересованно спросила Катя. Глаза у нее вдруг повлажнели. И вся она напряглась, хотя и старалась улыбаться по-прежнему легко.

— А так, — тотчас ответил Зося, изо всех сил стараясь показать, что вопрос для него ясен и задумываться над ним нечего. — Я вкалываю, жена хозяйство ведет... Чтобы на других мужиков она не поглядывала. У моей все будет, чего ей захочется, все обеспечу, чтоб ходила не хуже других. Но с женой хочу жить заодно, во всем. Думать мы должны... это... одинаково. Потому что один на один... все общее... Не знаю, как сказать... Ты вот о приданом говоришь, да? Не надо приданого, Катя, без приданого возьму. А вот без души не возьму... да. У меня вот отец был... Не хочу вспоминать... Больную мать со мной — сосунком, бросил... Я не так...

Зося сбился, покраснел. Он отчего-то не мог сказать, стыдился, что ли, какой мечталась ему жена и жизнь с ней. А ведь мечталась. В последние годы — все чаще. Эта мечта жила где-то рядом с сердцем, напоминала о себе требовательно и тревожно, вызывая томительное ожидание счастья или повергая Зосю в уныние оттого, что у него — неудачливого и нескладного — никогда ничего путного не получится.

Он глянул на Катю и поразился происшедшей в ней перемене. Улыбка ее была жалкой, губы вздрагивали, словно Катя сдерживалась, чтоб не заплакать.

— А пить-то не стал бы? — вымученно спросила она. Зосе показалось, что Катя спросила не о главном, а просто поддерживала разговор, который прервался так неловко.

— При хорошей жизни не пьют, Катя, — рассудительно ответил он, прислушиваясь к путанице в своих чувствах и мыслях.

Неделей раньше он бы удивился и поохотал над тем, как от обычных, от пустых слов два малознакомых чело-

века вдруг ударились в такую серьезность, что обоих чуть не трясет. Раньше он отвел бы душу... Но сейчас не хоталось. Он чувствовал, что между ним и Катей уже протянулась незримая ниточка и если он оборвет ее, то сделает больно не только Кате, но и себе, лишит и себя и Катю чего-то очень нужного, теплого, человеческого, что после этого будет пусто на душе и никогда больше не получится у них такого трудного, но и увлекательного, умного и опасного, и все же желанного разговора, нужного обоим.

Катя откинулась на стуле, губы ее побледнели.

— Зося, — сломанным голосом проговорила она, — а если серьезно?

Мурашки поморозили Зосину спину. Вот она — минута! Зося улыбнулся кривой улыбкой, которая странно застыла у него на лице. Катя уже была для него человеком, которого он не мог обидеть и смех над которым был — предательство. Но что ей ответить? Становилось страшно за себя, хотя и подмывало привычное любопытство. Давала знать привычка к бесшабашным словесным стычкам, но сейчас эта привычка натолкнулась на стену серьезности, к которой вдруг привела разговор Катя.

Он еще раз глянул на нее. Глаза у Кати — словно он больно обидел ее и она мучится. Зосе стало неловко: Катя сидела перед ним такая беззащитная, близкая, понятная, своя. И она серьезно предлагала ему...

Зося ощутил боль в груди, словно в нее ворвалось что-то горячее. И рядом с этим болезненным комком росла отчаянность, будто он, преодолевая страх, решает-ся под спор на какую-то до невозможности бедовую выходку.

Но пора было и отвечать. «А не счастье ли это привалило мне после всего?» — с замирающим сердцем спросил Зося себя. Он резко поднялся, подбежал к окну, не заметив, что стул за ним упал с громким стуком. Прижался лбом к холодному стеклу...

— Боюсь я... красивых, — хрипло проговорил он, слыша, что говорит не о том, о чем думает. Да он, пожалуй, уже и не думал. В голове стало пусто. Только страх перед попыткой решиться и беспомощность, такая непривычная, рождающая брезгливость к себе.

Он резко обернулся, услышав, как поднимается из-за стола Катя. Он испугался, что она уйдет совсем. Уйдет,

а что останется Зосе? Что делать? Как жить? И зачем — если без нее?

Но Катя не уходила. Она улыбалась ему, радостно и чуть насмешливо. Она шла к нему, протягивая руки. И Зосе вдруг стало легко и весело. «Чего боюсь-то? Этой славной девчонки? Во — дурак. Да и где наша не пропадала! Попробуем и семьей пожить. А?»

14

На этой неделе Зося к бульдозеру по уехал, хотя врач разрешил ему выйти на работу. У Зоси была свадьба. Готовясь к ней, он посерьезнел, озадаченный предстоящим событием. В тайничке мозга еще билась мыслишка, что не совсем складно получается, уж слишком негаданно: с невестой знаком какую-то пару дней, и уж не на дом ли Зосин, не на деньги ли его позарилась красивая Катя? Тем более зарабатывает он много, а дома почти не бывает. Ведь раньше девки бежали от Зоси с хохотом и чуть не плевали ему вслед, когда он пытался приставать к ним с ухаживаниями. А тут? Как понять?

Но Зосю сразу наполняла горячая радость, едва он видел Катю или слышал ее голос, а то и просто шаги. Он забывал сразу все сомнения. И следил за будущей женой преданными глазами, ухмылялся, но радость все же старался не показывать.

Катя заставила его купить черный костюм и белую рубашку, сшила модный цветастый галстук во всю грудь. Он и ей совал деньги, чтобы и она купила себе все свадебное, но Катя наотрез отказалась.

Однажды испугался. «А не разыгрывают ли меня?» — с ужасом подумалось ему. Он бросился к Кате, которая переодевалась за перегородкой. Она испуганно прижалась к стене. Он подошел к ней близко, хмуро заглядывая в глаза. Она обвила его шею руками, зашептала просительно: «Подожди. Теперь уже недолго...»

...За день до свадьбы невеста вымыла в доме окна, полы и потолки, обмахнула стены вересковым веником, все прибрала. Посвежел в доме воздух.

Утром, перед тем как идти в загс, Катя попросила Зосю сходить с ней на ее квартиру и принести оттуда ве-

щички. Зося пошел с великим удовольствием, по приутих, увидев, что Катя ведет его прямо в дом знакомой ему горбатой Анны. Катя беззаботно тараторила со старушкой, долго благодарила ее за гостеприимство, а старушка молча переводила глаза с нее на Зосю и не проронила ни слова.

— Чего она тебя испугалась? — спросила Катя на обратном пути.

— Мы с пей давно знакомы. Соседи, — буркнул Зося.

— Ой, обидел ты ее когда-нибудь, — сказала Катя, заглядывая ему в лицо. Но он молчал, и Катя продолжала: — Она славная. Несчастливая, конечно. Она только тем и живет, что людям помогает. По-своему, конечно, на религиозной почве, но добро делает...

Зося крикнул, всем видом показывая, что разговаривать на такую тему сейчас не время. Катини слова отпечатались в памяти и вызывали легкое раздражение и интерес.

Весь день Зося был серьезен и держался необычно прямо. Ухмылялся редко и то наедине. Знакомые не сразу узнавали его. Приутихли Чубенко и Василий, озадаченные таким оборотом дела.

Свадебный вечер прошел без особого веселья. Зося молчал и не притрагивался к рюмке. Он считал, что жениху так и полагается себя вести. Невеста тоже сидела тихо, опустив глаза. Щеки у нее горели и руки двигались не так плавно, как несколько дней назад, а нервно, рывками. В гости она никого не позвала. С Зосиной стороны были только жильцы. Так и сидели вчетвером, по разные стороны стола.

Когда выпили, Василий не утерпел и спросил Катю, кто она и откуда.

— Она наша, — загудел Чубенко. — Рабочий класс.

— Меня в городе не знают. Я ведь недавно приехала. Не из славленных невест, — сказала Катя.

— Нехваленая невеста дороже хваленой, — выдал половицу Чубенко. Катя слегка вздрогнула, зарделась, снова опустила глаза. Зося сидел прямо, лишь изредка косил глазами на Катю или слегка сигналил жильцам, чтобы наливали себе. Наконец жильцы переглянулись, недружно крикнули «горько», пожелали молодым всяких благ и оставили их.

А утром жених оказался прежним Зосей. Молча оделся, хлопнул дверью и пошел к своему бульдозеру.

Не показывался он всю неделю, А в воскресенье пришел сытый и навеселе.

15

Катя остановила его на пороге.

— В таком виде не пущу. Сними грязное. — Она пыталась улыбаться.

Зося молча приподнял ее и отставил в сторону, шагнул, в чем был, в чистые комнаты. Кто знает, не будь рядом жильцов, он, может, и послушался, и снял бы надоевшую робу. Но жильцы встретили его весело, глядели так, словно ждали новых шуток. И Зося не мог их разочаровать.

Катя сжала губы и пошла за ним, двери прикрыла плотно. Через час переодетый Зося вышел со своей половины с огромным мешком, доверху набитым опорками. Подмигнул жильцам и вдруг ахнул, будто вспомнил важное.

— Она выбросить велит, — обрадованно заговорил он. — А мы не так сделаем...

Он прислонил мешок к стене и бросился в сени. Возвратился оттуда с тяжелой «буржуйкой», приволок и трубы. И только теперь жильцы догадались, что Зося не чудит, а поступает разумно. На улице было уже холодно. В нетопленном доме поселился промозглый сквозняк. Усевшись на корточки и даже в таком положении не уступая в росте Чубенко, Зося с великой заинтересованностью заталкивал в «буржуйку» старые башмаки и дырявые подметки. Он заразил этим интересом и директора, и милиционера. И было чему дивиться! Опорки горели на редкость ходко и жарко. Лучше всяких дров.

— Ташкент! — восхищался Зося. — Ползими протопитесь на моем запасе. Этого добра у меня на чердаке на два самосвала не погрузить. Знаю, что дров покупать не собираетесь, ответработнички...

Жильцы только улыбались, добрея у тепла. Но от столь приятного запятия Зосю отвлекла жена. Она увела его, а минут через десять оп, загадочно улыбаясь, потопал с кошелкой в магазин. Он принес, что было наказа-

но, высыпал покупки на стол, но еще до этого сунул пару бутылок в комнату жильцов и мигнул, чтобы припрятали.

Жены Зося сторонился, в его отношении к ней было что-то пренебрежительное, губы его кривились. Целый день молодая жена, погрустневшая и настороженная, старалась показать себя заботливой и умелой хозяйкой. Разговаривала мало, но то и дело гоняла Зосю с поручениями. Он, демонстративно подчеркивая, что все это ему надоело, перетаскивал из угла в угол тяжелые вещи, приносил чистую воду и уносил грязную. И с каждым часом становился все более дурашливым и дерзким: он улучал моменты, чтобы приложиться к спрятанным бутылкам.

— Когда ты успел набраться? — с тихой обидой спросила Катя. Нет, она не собиралась плакать. Она сдерживалась, похудевшая и уже не такая красивая. — Я хотела к вечеру хороший ужин сделать. Бабку, старую мою хозяйку, пригласила. А ты? — с укором выговаривала Катя и настороженно следила за переменами в лице мужа.

— Бабка — как раз для меня компания, — ощерясь, хохотнул Зося. — Всю жизнь мечтал вечер с бабкой провести.

— Будь человеком, — с болью в голосе попросила Катя. — Ведь не такой уж ты, как показать хочешь...

— Я — бульдозер, я — дурак, от себя гребу хорошее, а себе беру... — издевательски прокричал он и резко отвернулся, не договорив. Хлопнул дверью, зашел в пустую комнату жильцов. Сел, уперся локтями в колени. На душе было скверно. И в то же время хотелось захохотать и запеть, плюнув на все...

Прошло время, и он услышал, что к Кате кто-то зашел. Зося поднялся, надо было глянуть на гостя. Ведь Зося покамест хозяин в доме!

Посреди комнаты, уже прибранной для праздничного ужина, он увидел горбатую Анну. Она кланялась в передний угол, где уже не было ни икон, ни бумажных цветов, и мелко крестилась, беззвучно перебирая губами.

Зося оборвал прорывавшийся хохот, бухнулся рядом с ней на колени, взмахнул ручищей, неумело осеняя грудь, и заблажил такое, что, по его мнению, должно было походить на молитву.

— Добро сотвори, ближнего обмани, никому не признавайся, богу покайся, аминь...

Лицо его перекопилось от напряжения: сдерживать пьяный хохот было нелегко. Старушка отпрянула от него, ударилась о стену, закрестилась еще быстрее. Зося упал локтями на пол, заржал.

— Зося-а! — со слезами закричала Катя.

Зося вскочил и выкинул перед ней пару разухабистых коленец, словно собирался плясать, и жену вызывал на круг.

— Зачем же так-то! Издеваться-то? — задыхаясь, говорила Катя, заслоня старушку. Зося отстранил ее, нагнулся к лицу Анны и запел, кривляясь:

— «В том конце на том краю бьют горбатую мою. Не утерпеть — пойду глядеть, куда горбы будут лететь!»

Старушка шарахнулась от него.

— Антихрист! — неистово вскрикнула она и плюнула в его сторону. Зося хохотнул, обернулся к жене, выкрикнул ей в лицо другую частушку:

— «Городские девочки — какие интересные: пять абортот каждый год, а замуж идут честные!»

Зося победно развернулся, но тут же присел. Старушка с размаху ударила его клюкой. Не успели жильцы выскочить на шум, как в их комнату влетел растрепанный Зося. Было похоже, что сзади его крепко толкнули. Он попытался засмеяться и не смог.

— В милицию его! Куда глядите, начальнички! — пронзительно кричала бабка. Зося сделал зверское лицо, вскинулся в ее сторону. Непонятно было, то ли он все еще шутит и хочет ее попугать, то ли намеревается вышвырнуть ее вон. Но ничего у него не получилось. Василий заученным движением сцапал Зосины руки и резко загнул их ему за спину... Зося ахнул, покорежился туловищем и послушно пошел впереди милиционера, не отпускаявшего его рук.

Некурящий Чубенко потянулся за Васиными сигаретами, долго чиркал спичкой и, ничего не добившись, затих, вращая огромными черными глазами.

А Зося топал в милицию.

— Я же тебе сапожки сшил... И живем вместе, — вслух осудил он жильца-конвоира.

— Не знал я, что ты такой подлец, а то бы не стал с тобой связываться, — ответил разгоряченный Василий.

— Задержанных оскорблять не положено, — бросил Зося.

— Не поймешь ты, если с тобой по-хорошему.

На ночь Зосю домой не отпустили.

Вернулся он рано утром. Не заходя в дом, сел на сырое крыльцо, развесил длинные руки. Казалось, он очень устал, но глаза и губы предательски выдавали прежнюю Зосину ухмылку. Только теперь она была злее обычного.

К нему вышли жильцы.

— Что с тобой делать, Изосим? — с упреком спросил Чубенко. — Как мы тебе квартиру будем давать после такого? Нельзя ее тебе давать. Мы строим квартиры для радостной и правильной жизни, а не для пьянки и драки.

— Вот именно, — поддакнул Василий.

— Как хотите, — равнодушно ответил Зося.

— Как себя ведешь! — возмутился Василий. — Ему все нипочем. На первой неделе после свадьбы — и в милицию. Постыдился бы.

Зося глянул на него серьезно, а хмыкнул насмешливо.

— Ну, попал я по вашей милости в участок, ну, перепочевал там. Не я первый, не я последний. Сижу, улыбаюсь. А вам-то что? Чего вы-то как на похоронах?

— Дает! — растерянно проговорил Чубенко.

— Скучные люди, — вздохнул Зося. — Ничего-то вы не понимаете. Отвяжитесь.

— Сегодня же из твоего дома съеду, — сказал Василий.

— И спасибо не скажешь, знаю, — подхватил Зося. — Все вы... Уж и неудобно вам с простым рабочим...

— Да не так живут настоящие-то рабочие, — возбужденно заговорил Чубенко. — Ведь сам все понимаешь.

— А что я сделал? За мое баловство с работы не снимают. Вот тебя — сняли бы. А меня — нет. Так и прокурор скажет, — ответил Зося. — И квартиры не надо. Это вы квартиру от государства ждете, дров купить жметесь. А я — нет. Этот дом упадет — на другой заработаю.

— Уже известно, как ты зарабатываешь, — многозначительно сказал Василий.

— Своими руками, — возвысил голос Зося. — Своим горбом! — Но что-то дрогнуло в нем, растерянным стал взгляд. Зося прикрыл глаза, снова сел и заговорил без прежнего азарта. — Слепые вы все, вот что. Неужто не понимаете, что я не со зла, не от подлости... Ну, с озорством... дак что? В деревнях меня понимают. Да и тут... Да

что вам толковать! — Зося безнадежно махнул рукой и отвернулся. Жильцы думали, качали головами.

Вдруг Зося резко вскинул свои длинные руки. Жильцы шарахнулись. А он потянулся до хруста в суставах и начал оседать с блаженной улыбкой. Сел.

— Чего пялитесь? Я зарядку делаю. А вам на службу пора! — усмехнулся он им в лица. — Я же куда как хорошо провел сегодняшнюю ночь! Есть что вспомнить. Так мне хочется к бульдозеру! Ох, и поработаю я в эту неделю — от души. Триста процентов дам, товарищ директор. И повеселюсь, извините, тоже. Вечеринку закачу в деревне — половицы затрещат, шутить буду, дурачиться буду. А вы сидите тут по углам, езуиты постные, порядки соблюдайте и осуждайте меня. А я пошел.

Изумленные жильцы еще долго толкались во дворе, не замечая холода. Перед приходом Зоси они условились не расстраивать его до конца, не говорить ему, что Катя сразу после скандала похватила свои вещички и унесла чемодан в сопровождении горбатой старушки. А оказалось, зря условились. Зося не спросил про жену и увидеть ее не захотел, словно ее и не было.

16

Работать стало тяжелее. Даже старые, начисто высохшие пруды теперь залило. Забираться в них с бульдозером было рискованно. Зося ругался, требовал, чтобы ему отводили участки на новых и сухих местах. Председатели соглашались и на это. Но дожди мешали везде. Невозможно было вылезть из кабины, ноги то расплзались, то вязли. Зося понял, что триста процентов не даст и заработки его будут не те. И в первый раз постылой показалась ему командировочная жизнь, а с ней и замызганный бульдозер.

Зося работал и скрежетал зубами, а после ужина сразу валился в постель. Но и спалось плохо: одолевали думы. О Кате он старался не вспоминать... Порой казалось, что ему ничего не грозит: есть работа — ну и работай. А на душе было все равно смутно, тревожно.

К концу недели, когда Зося уже планировал, как провести воскресенье, к нему приехал Чубенко. Зося разыграл великую радость да и вправду был рад. Пулей вылетел он из бульдозера, широкими прыжками преодолел

грязь, подбежал к директорскому «козлику», залопотал. Но Чубенко не вышел из машины и даже руки не подал.

— Дороешь этот пруд и гони бульдозер в ММС, дело есть, — сухо вато распорядился он.

— Что еще за дело объявилось? — громко удивился Зося, чуя недоброе.

— К девяти часам в понедельник явись ко мне в кабинет. Там и узнаешь, — безапелляционно проговорил Чубенко и громко хлопнул дверцей. «Козлик» нешибко заскользил по сырой дороге. Одинокий Зося, оставшись на грязной обочине, почувствовал себя вконец осиротевшим.

«Кажется, кончилась моя вольная житуха, — подумал он. — Если пришьют мне к делу халтуру, то выйдет по всем статьям перерасход. На всех фронтах конфузия. Не дай бог, опять даст мне Пашин кувалду...»

Он не сразу вернулся к бульдозеру, останавливался в раздумье, выбирал дорогу поудобнее. В сердцах рванул дверцу кабины, чуть не сорвал ее с петель. Подтянулся на руках, плюхнулся на сиденье. Дал задний ход. Бульдозер окутался белым дымом, но с места не стронулся. Зося оглянулся и помертвел: почти к самому окну кабины подступала вязкая грязь. Сдвинуть машину вперед тоже не удалось. Зося с ужасом наблюдал, как погружается в трясиину ходовая часть. Гусеницы крутились легко и удивительно быстро, выбрасывая жидкие потоки. Чуть не плача, Зося полез из машины. Сам едва не увяз. Сапоги пришлось придерживать руками, чтобы не оставить в грязи. Он беззвучно ругал последними словами и себя, и некстати приехавшего Чубенко, и совершенно не сообщал, что делать дальше.

Подошел какой-то старичок.

— Хана, — бодро сказал он. — Теперь до рождества не вытянуть. Промерзнет земля, тогда надо пообрубить сзади мерзлое-то, подцепить пару тракторов — они и выволокут. Есть у нас такие места, гиблые, вроде ямин. Иной раз лошади вязнут, всей деревней вытягиваем. Попал ты, братец, в яму.

Зося свирепо глянул на нежданного утешителя. Но старичок был благостный, не врал и не пугал.

— А пасовсем-то его не засосет? — с надеждой спросил Зося.

— Не должно. Земля его поддержит. Да и люди последят.

Зося хлопнул грязными рукавицами по колену, повертел головой и еще долго стоял с мокрыми глазами, не сводя их с бульдозера, который вроде в трясину больше не погружался. Наконец плюнул под ноги и побрел в колхозную контору. Надо было сообщить о беде в ММС.

...В город он добирался как попало. Добрую половину — пешком. Изредка его подбрасывали попутные тракторы и подводы. Автомшины не ходили — увязли бы на первой версте.

Противнее этого путешествия в Зосиной жизни ничего не было. Ноги гудели. Одежда прилипла к телу. Каждый новый километр был длиннее прежнего вдвое.

В город он попал к исходу выходного. Забрел в первую чайную и допоздна просидел там. Под конец затянувшегося ужина ему стало веселее и легче. Но, пока он добирался скользкими тропинками к дому, веселье выветрилось. Навалилась усталость, неодолимая. Он едва вскарабкался на крыльцо, обломал ногти. Долго стаскивал в сенях мокрую робу и сапоги. Ему было безразлично, есть ли кто в доме, нет ли. Держась за стенки, добрел до дивана и, падая на него, заснул.

Утром поднялся поздно. Болела голова, и все тело болело. Глянув на стрелки, понял, что к назначенному директором часу он безнадежно опоздал. Стало еще хуже. И только теперь он заметил, что Катиных вещей в комнате нет.

— Ушла, — определил он. — И приходит незачем было. Разыграла спектакль... ладно, зрителей было мало...

Надо же! Он будто и ненавидел ее сейчас, а не мог ругать, хотя бы и наедине с собой, теми словами, какими честил нередко других. Что-то останавливалось в нем. Он не понимал себя. И оттого становилось еще сквернее на душе.

Он принялся нервно рыться в шкафу, чтобы найти что-нибудь потеплее и поприличнее для выхода в город. Новенький свадебный костюм почему-то успокоил его. Он надел его, повязал цветастый галстук. Глянул в зеркало, понравился себе.

— Хоть опять женись, — сказал он вслух и повеселел.

Он вошел в директорский кабинет и не сумел скрыть удивления: рядом с Чубенко сидел Василий.

— Здравствуйте, товарищи! — словно маршал, принимающий парад, крикнул Зося и протянул было руку. Но

Чубенко даже не поднялся ему навстречу, а только кивнул на стул.

Зося легонько пожал плечами и сел, впервые разглядывая обоих жильцов вместе в служебной обстановке. Озабоченность и важность на их лицах показалась ему забавной. Он отвернулся, чтобы не видели, как расплылось его лицо в улыбке.

— Докладывай, в каком виде машина, — услышал он голос Чубенко, который все еще просматривал какие-то бумаги, подаваемые Василием, но уже приглашал к разговору и Зосю.

— В порядке. Когда уходил — одна кабина была видна. Так что не разденут, — ответил Зося, слегка привирая и укрощая улыбку.

— Как угораздило-то?

— А пока разговаривали мы с вами, его и засосало.

— Значит, я виноват? — спросил Чубенко, с интересом глянув на Зосю.

— Теперь как хошь считай, — сказал Зося со вздохом.

— Наделал ты делов... И при параде.

— Решил все отгулы отгулять, — заявил Зося.

— Отдохнуть тебе придется, — сказал Чубенко, и Зося забеспокоился, уловив в его голосе недобрый намек. Да и Василий поглядывал так, что ничего хорошего ожидать не приходилось.

— Почитай-ка вот это.

Зося поднялся и взял у Чубенко листок из ученической тетради, исписанный замысловатым почерком. Принялся читать, не замечая, что оба жильца неотрывно наблюдают за ним. На листке было заявление. И чем дальше читал Зося, тем больше охватывало его негодование. И жутковато становилось.

«Директору ММС тов. Чубенко
от гр. дер. Лухнёво, пенсионера
Моргалипа Е. Д.

Заявление

Прошу Вас разъяснить жителям нашей деревни Лухнёво тарифы и расценки на рытье прудов частному сектору со стороны Вашей ММС во избежание кривотолков и левых заработков со стороны Ваших механизаторов, каковым у Вас является Изосим Изосимович (фамилия неизвестна). Суть в том, что вырытые частному сектору пруды никем не сдавались и не принимались, хотя без акта эта работа Вам в план не пойдет. И насчет расценок не-

ясно. Поименованный механизатор взимал плату в свои руки, не выдавая квитанций, и допускал непозволительный произвол, взяв с меня, больного, заслуженного и старого человека, проработавшего всю сознательную жизнь на самых трудных участках народного хозяйства страны, 30 (тридцать) рублей, а зажиточной пенсионерке Скворцовой М. И. вырыл пруд без заказа, бесплатно, искажив ландшафт населенного пункта Лухнёво и тем самым совершив злостное преступление против охраны природы. Прошу разобраться в непозволительных действиях поименованного механизатора, проверить факты на месте и дать письменный ответ о наказании виновных, иначе возмущенные люди найдут правду выше. Народ теперь грамотный, понимает и в государственном порядке, и в казенном бензине, и в леваке.

К сему. (Моргалин)

15 октября 197 . . . года.

Копия в райотдел милиции...» ...

Зося кончил читать, а все еще не мог оторвать глаз от ненавистного листка. «Моргалин, — злобно шептал он. — И фамилия-то подлая. И сам сволочь. Встретить бы его еще разок, больного и заслуженного... Доведется ехать мимо — заровняю его пруд, гору земли на его месте наворочу, карасей не пожалею», — решил он и даже немного успокоился от этого.

— Что скажешь? — спросил Чубенко.

— А подлец он! — заявил Зося. — Больше и сказать нечего.

— Кто?

— Жалобщик. Помню я его. Жмот и жулик. Он во всем и виноват. Если бы не он...

— В чем он виноват?

— Да... Долго рассказывать. — Зося махнул рукой и отвернулся.

— А что скажешь на это? — спросил Василий и подал Зосе пачку листов, расчерченных на строчки. Поверху их стояло черное печатное слово: протокол. Зося потемнел с лица. Он читал листы один за другим и только сейчас узнавал мимолетных знакомых полностью по именам, отчествам и фамилиям. А много же их набралось! Зося сбился со счета, начал снова, задумался, припоминая свой маршрут по району.

— Это я по твоим следам ездил, — сказал Василий. — Многовато ты их наоставлял. Кстати и расчет твоей липовой свадьбы с вековухой проверил: наврал ты. А в других местах тебя самого обвели, как мальчика. В первом

же колхозе, где ты работал, два пруда твоих учетчику не показали. И в план ММС они не пошли. Вот мне и приходится восстанавливать справедливость.

Зося хмыкнул. Протоколы были написаны рукой тех, кому он рыл пруды. Везде указывалась полученная Зосей сумма. В двух протоколах говорилось, что денег он не брал, а в четырех — что оплата ограничивалась угощением. «Честный народ», — улыбнулся про себя Зося.

— А вот итог, — сказал Василий, протягивая еще один листок. Общая сумма незаконно полученных тобой денег — почти тысяча рублей. Немного недотянул ты до особо опасного преступления.

— Это не все, — сказал Зося, стараясь казаться спокойным и веселым. — Я еще на хуторах по пути рыл. Оттуда протоколов нету. Плохо ты работал, Вася, хуже моего. К тому же я добро людям делал, а ты настроение им портил своими допросами. Представляю, как они всполошились, ночи не спят, меня жалеют. Тебя, наверное, никто и не кормил в деревнях-то, не то что меня.

— Шутишь! — усмехнулся Василий недобро. — А отвечать придется по строгости закона.

— Все верно! — вскрикнул Зося все еще весело, хотя кошки уже давно скребли его душу. — Вот этого Моргалина я бы прищучил.

— Мы разбираемся с тобой. Умей за себя ответить, — отрезал Василий. — Рассказывай.

— Чего? И так ясно, — раздраженно ответил Зося. Он все еще не мог поверить, что привлекают его и дело пахнет судом. Ведь он не воровал... Своими руками... Люди просили... Как не помочь. До синевы в глазах работал. А тут?

Но лица жильцов были столь мрачны, что Зося и впрямь почувствовал себя преступником. Мысли останавливались.

Зося почувствовал, что его зlobит. Он не глядя расписался в бумагах и снова уселся. И только теперь, когда он расписался под протоколами, ему стало страшно. Надо бы уходить, но недоговоренность, неясность положения становились певыносимыми. Зося боялся остаться один на один с собой. И глаз чего-то задергало, левый.

Василий сложил бумаги в папку, о чем-то тихо посоветался с Чубенко и вышел, поглядывая на Зосю. Зося не разобрал их разговора да и не слушал.

— Можешь быть свободен, — устало сказал Чубенко, глядя в окно.

— Куда? — спросил Зося, мучаясь.

— Ты ловкий парень. Чего тебя учить...

— Чего со мной делать-то надумали? — громче спросил Зося.

— Ударник! Передовик! — вдруг заорал Чубенко, срываясь с баса на пронзительный крик. — Вор! А мы у тебя жили... Доверяли веселому человеку... Рубаха-парень, душа параспашку... А тут не рубаха, а целая...

Чубенко задохнулся, не в силах найти слово для сравнения. Он вскочил, взмахнул руками и оглушительно хлопнул по столу тяжелой ладонью. От стола его тут же отбросило, он коротко взвыл... Толстое стекло на столе разлетелось от удара на куски. Чубенко тряс окровавленной кистью руки и морщился.

Зося кинулся к нему. Ничего смешного тут не было. Он выдернул из директорской ладони толстый осколок, оглядел его, потом рану.

— Острое, без обломков. Крошки в руке не застряли, — торопливо говорил Зося, успокаивая побелевшего директора. Он схватил графин, искал глазами какую-нибудь тряпку, полез в карманы, но носового платка в них не оказалось. Тогда Зося сорвал с шеи галстук, плеснул на него из графина и приложил к ране... Кровь перестала сочиться.

— Выше держи! — вполголоса командовал Зося, туго перевязывая руку галстуком. — Нельзя так, что ты. Ведь я в ММС не один. Если на каждого стучать...

— Иди вон, — сказал Чубенко.

— Посиди, успокойся, — приговаривал Зося, будто и не слышал директорского распоряжения. Он налил воды в стакан и придвинул его Чубенко. Тот жадно выпил воду, перевел дух и страдальчески поглядел на Зосю.

— С одним тобой хлопот больше, чем со всей ММС, — сказал он с невыразимым укором. — Что ты за человек?

Зося смолчал. Ему было искренне жаль Чубенко. И он понимал, что сейчас лучше не только не возражать, но соглашаться надо с чем угодно. О своей беде Зося забыл.

— Я никому не скажу. В момент за бинтом слетаю, — по-приятельски предложил он. — Нехорошо с галстуком на руке. Люди заходят.

— Сгинь с глаз моих! — простонал Чубенко. — Приходи в пять часов на собрание. Левые деньги внеси в кассу...

У Зоси что-то тяжелое свалилось с плеч. Но сразу он не ушел, собрал в кучу осколки, завернул их в газету, без спроса взятую с директорского стола, еще раз преданно глянул на Чубенко — не надо ли ему чего...

— Во-он! — почти взвыл Чубенко, готовый снова бить кулаками по столу.

Зося бочком шмыгнул в дверь, унося стекло.

Теперь у него была одна мысль — внести в кассу деньги, чтобы никто к нему больше не приставал. Денег было не жаль. И еще ему подумалось, что не такие уж плохие ребята его жильцы, не отправили к прокурору, не стали выносить сор из избы, свои люди. А другие могли бы...

Через полчаса он уже склонился к окошечку кассы, просовывая в него руку с пачкой денег.

— Оприходуйте. И корешок мне, — поторопил он толстую очкастую женщину.

— За что платите? — заученным тоном спросила она.

— По протоколу, — сказал Зося, краснея. — Незаконно получил.

— Дуся, подними начисление. Кому мы переплатили? — пропела кассирша в глубину комнаты. Зося немного подождал и принялся растолковывать, что эти деньги шли не через бухгалтерию, а он брал их сам. А теперь ему разъяснили, что это неправильно и велели отдать... По совести.

— Какая совесть! Мы удерживаем только налоги и алименты, принимаем плату за дрова, — то ли шутила, то ли всерьез объясняла кассирша.

— Я же вам сказал! Берите, — заволновался Зося.

— Вы что, слов не понимаете? Нет такого порядка! — Кассирша придвинулась к окошечку, недолго разглядывала злое Зосино лицо и вдруг отпрянула. — Не мешайте работать! — взвизгнула она и со стуком захлопнула окошечко. Зося слышал, как звякнула изнутри металлическая защелка. Он вздохнул, отошел шага на два, потер лоб. Отступать было нельзя. Он снова подскочил к окошечку, забарабанил по нему железными пальцами. Окошечко с треском распахнулось, и Зося снова близко встретился с негодующими глазами кассирши.

— Девочки, звоните в милицию! — закричала она, ударив счетами по Зосиной руке. Он чуть не выро-

нил деньги, отдернул руку. Окошечко тотчас захлопнулось.

Скоро он уже входил в здание районной милиции.

— Где тут деньги принимают? Присвоенные, что ли... — с порога закричал он дежурному лейтенанту. Тот вскочил, загородил Зосе дорогу. — Василия мне, старшего лейтенанта. Он у меня в доме жил, — догадался спросить Зосю.

— Его сейчас нету, — ответил дежурный, с подозрением оглядывая Зосю.

Зосю чуть не плюнул с досады и выбежал на улицу. Он вспомнил, что в здание милиции можно зайти и мимо дежурного, с черного хода. И точно, во дворе никто его не остановил. Встречные милиционеры даже сторонились вежливо, пропуская его.

Он нашел двери с табличкой «ОБХСС» и постучал. Его встретила симпатичная девчонка в голубоватой милицейской гимнастерке. Как ни старался Зосю разъяснить ей свое затруднительное положение, она ничего не понимала, только хмурилась.

— Здесь не цирк! — наконец прикрикнула она. Зосю попятился, потому что девчонка потянулась к телефону, и очутился в коридоре. Он принялся останавливать каждого человека в милицейской форме и сбивчиво объяснялся с ним. Вокруг него собралось уже человек пять. Подошел пожилой милиционер с крупной звездой на погоне. Этот понял все.

— Дело еще не закончено. Деньги вносить рано. Никто их пока не возьмет, — сказал он, и все разошлись.

Зосю поплелся домой. Оказалось, что времени прошло уже много и надо было поторапливаться па собрание. Хотелось прийти пораньше, чтобы разузнать что-нибудь новое насчет себя, потому что все сильнее сосало у Зоси под ложечкой. Раздумывал: брать с собой деньги или нет. Решил взять: вдруг Чубенко прикажет кассирше, и та примет их! Страх рос. Зосе казалось, что стоит только избавиться от этих денег, как он станет честным и чистым человеком, которому можно жить ничего не опасаясь. О такой жизни он теперь мечтал и ничего не желал, кроме ее...

К Чубенко его перед собранием не пустили. Зато ему повезло на другое. Мимо прошел Василий и хлопнул его по плечу. Пожалел или просто от хорошего настроения?

Нет, настроение у Василия всегда одинаковое. А подсудимых по плечам не хлопают.

Зосе стало полегче. Он спустился в пустой зал, чтобы побыть одному, подумать. Хотел было по привычке сесть на первый ряд, но тут же спохватился: из президиума он будет виден как на ладонке и кто-нибудь из начальников, увидев его, обязательно намекнет людям о Зосиных делишках. Он забился в дальний угол, сгорбился, притих. Люди уже заполнили зал.

Скоро Зося понял свою ошибку. Собрание, оказывается, для того и собирали, чтобы обсудить его, Зосю. Его попросили встать. Весь зал, как по команде, обернулся и рассматривал его. А будь он на переднем ряду, из зала увидели бы только его спину.

Стоять было тяжело. Зося плохо слышал, что говорили. Запомнилось только, что собрание открыл Чубенко и предоставил слово Василию. Потом от Зоси долго требовали ответа, а он не мог сказать ни слова — челюсти свело, и всего его било жаркой дрожью. Он бы и упал, наверное, но выручали руки, намертво вцепившиеся в спинку стула, закаменевшие.

Зося смутно видел, как в его сторону возмущенно машет рукой седой старичок механик, потом молодая женщина, а после нее кто-то из простых работяг. Слова не доходили до его сознания. Но он улавливал, что все говорят примерно одно и то же и никто не защищает его. Запомнился бригадир дренажников. Зося слышал от других, что парень этот лихой, умеет сорвать заработок. И его возмутило, что с обличительной речью выступает именно этот тип. «А сам-то!» — хотел крикнуть Зося, но из его горла вырвался не то храп, не то кашель. И никто не понял его...

Собрание разворачивалось перед ним как тусклое немое кино. И еще было похоже на кошмары, когда он болел и бредил. Каждый замахивался на него и больно бил. И не было сил уклониться от удара, не то что убежать или дать сдачи.

Его толкнули в бок. Он близко различил лицо — отчего-то радостное.

— На поруки берут. Скажи, что исправился. Так надо, — громко шептал сосед. Зося немного очнулся и почувствовал, что в зале что-то изменилось. Будто строгая, но добрая птица распахнула перед людьми крылья. Люди

еще глядели на него, но уже по-другому. А Зосе становилось хуже. Руки у него подломились, и он тяжело рухнул на стул.

— Да он больной! Горит весь, — услышал Зося голос соседа, чувствуя еще, что тот приложил к его лбу ладонь. В зале зашелестело, загремело...

Очнулся он дома. Рядом сидела Катя, сложив на коленях руки. Руки были красные, воспаленные.

17

Зося прикрыл глаза, чтобы Катя не заметила его пробуждения. Слишком неожиданной была эта встреча. О чем с ней говорить?.. Катя и не заметила. Она давно смотрела ничего не видящим усталым взглядом.

«Отчего это руки у нее словно ошпаренные? — задался вопросом Зося. — Может, после стирки?..»

Чувствовал он себя свежо, как после здорового сна. И только слабость и смутное беспокойство напоминали о болезни.

— Чего пришла? — неожиданно даже для себя спросил он.

Катя качнулась на стуле, приподняла руки и снова опустила их на колени.

— Да ведь ты хороший, когда спишь, — не сразу ответила она с ничего не значащей улыбкой. И опять поджала губы, уставилась на стену выше Зосиной постели.

— Ну? — настаивал он.

— Мы ведь муж и жена, — проговорила она вымученно. — Кто же за тобой присмотрит, если не я? А ты проснулся — и снова хамить готов. Начнешь — я уйду.

По лицу ее пробежала судорога, но Катя справилась с собой, так и осталась сидеть, слегка закинув голову.

«Совсем другая она стала: исхудала, побледнела, морщинки у глаз. Красавицей не назовешь, — отметил Зося, глядя на нее и почему-то испытывая тихую жалость к ней. — Это я ее измучил. А что она мне плохого сделала?»

— Ты не расстраивайся, — сказал он.

— Чего теперь расстраиваться, — ответила Катя. — Вижу, что поправляешься. Поживу у тебя, пока на ноги встанешь, а потом опять тряпки соберу. Я и так их не все принесла.

Зося поежился, помолчал. Странно! Разговаривать с Катей ему было совсем не трудно. А ведь недавно казалось, что не сказать ему ни слова да и видеть ее он не хотел... Он сейчас не боялся ее, не такой красивой, как две недели тому назад. Но говорить хотелось что-то умное и доброе. Нужно было взвесить каждое слово. И Зося не спешил, думал.

«Отнял я последнюю радость, последнюю, может, надежду ее на пастоящую жизнь, — упрекнул он себя. — А она ведь не только баба, а и — человек. Такой же рабочий, как и я. И вообще — человек. И жизнь, люди, наверное, обижали ее не меньше, а может, и больше, чем меня. Потому что женщина».

Зося думал. На лице его устоялась едва заметная, мудрая и горькая улыбка.

— Ты какой-то не такой стал, — с едва заметной надеждой проговорила Катя, взглядываясь в его лицо. — Повымотала тебя хворь. Ты и не слышал, как я тебя сутки с ложечки поила.

Зося вскинул на нее глаза. Катина голова теперь была устало склонена набок. И она глядела прямо ему в глаза.

— Спасибо тебе, — тихо и благодарно сказал Зося. В лице Кати что-то дрогнуло, светлые лучики мелькнули у глаз, поалели щеки.

— Лежи, — сказала она. Поднялась и долго поправляла ему одеяло, подоткнув под бока и под ноги. — Я в магазин.

Только оставшись один, и то не сразу, Зося вспомнил и про собрание и про деньги. И словно тисками сдавило горло... Он едва перевел дух. И чуть не заплакал от бессилия, оттого, что она ничего не знает... Он ждал Катю и боялся, что сейчас придет Чубенко и неизвестно еще, что скажет.

Или Василий припрется с протоколами: Зосе казалось, что следователи любят допрашивать больных, у больных все легче разузнать...

Наконец Катя пришла. Но принялась что-то делать на кухне. Зося кулаками застучал по стене. Легкие Катины шаги раздались в прихожей. И вот она рядом, склонилась к постели.

— Кто тебя напугал? — спросила она, тревожно взглядываясь в его лицо. — Или болит что?

— Что там обо мне говорят? Собрание-то что решило? — хрипло, в два приема спросил он.

— Не думай об этом, — спокойно сказала Катя. — Все будет хорошо. И так у тебя от нервов болезнь. Думаешь много, переживаешь, мечешься.

— Скажи! — почти крикнул он.

— Никто тебя особенно не хвалит, но и бить не собираются. Слышала я, что постановили взыскать с тебя за горячее и за амортизацию по машино-часам. Вроде подсчитывают, сколько с тебя приходится. Ну и общественное порицание, выговор, что ли.

Зося слушал всем существом. Казалось, и грудь его слышит, и руки, и все тело сразу.

— Ну, а суд-то? — спросил он.

— Да ведь слышал, что на поруки тебя взяли. Или не слышал уже? Ой, и напугал ты меня, когда упал там. Я чуть не заорала. А бабы глядят — что я буду делать. Ведь муж...

— И что же ты?

— А помчалась как сумасшедшая к телефону, «скорую» вызвала. Сама в машину к тебе залезла. И везти велела сюда. Так и осталась с тобой. Врачи говорили, что надо, потому что тяжелый ты был. Пластом лежал, не целохнулся. Подрезало тебя...

— А отчего у тебя руки как ошпаренные? — вырвался, вроде и не к месту, давно стоявший в горле вопрос.

— И у меня от нервов. Я тоже с тобой помучилась. Так-то незаметно, когда все спокойно. Я их по своему малярному делу испортила давно. Каким-то ядовитым разбавителем облила, не разбиралась еще. Зажили быстро. А попереживаю — и покраснеют, пухнут иной раз... Это пройдет. Да они и не болят совсем. Только так... не очень красиво для молодой жены.

— Сойдет, — сказал Зося. — У меня еще почище. Век не отмоешь.

— Работа... — вздохнула Катя.

— А ты чего убежала-то от меня? — быстро и весело спросил Зося. — Ведь позор мне...

Глаза его глядели так ясно, а спросил он столь необходимо и о самом щекотливом, что Катя, постоянно ждавшая этого разговора, легко вздохнула, опустила перед ним на стул и даже улыбнулась.

— Да какой же тебе позор? — заговорила она. — Мне — верно, позор... Видишь, как у нас все получается... Опытнее тебя я оказалась. Не знаю, как лучше-то сказать... Я сразу поняла, что впервые ты с женщиной. И полюбила тебя уже по-настоящему. Ведь сначала-то я тебя только жалела. Обласкаю, думаю, его, поймет. Ну и сдружимся, слюбимся. Ты ведь веселый, простой бываешь, с тобой легко. А ты вон какой норовистый оказался. Конечно, глупо я сделала, что не сказала до свадьбы... что не с тобой первым. Да ведь как об этом скажешь — язык не поворачивается, тяжело... Думала, что и ты... Ведь вон какой ты ходовитый да ухватистый. А вышло по-другому. Не знала я, что ты так обидишься... Это ведь не обман, Зося, ты пойми меня. Я всей душой к тебе.

Зося слушал. Ему было радостно и в то же время неловко, что Катя так просто говорит про такие дела. Даже неприязнь шевельнулась снова, как тогда, в первую ночь.

— Ну вот. Опять на меня волком смотришь, — с ноткой горечи сказала Катя. — Ну, виновата я. А знал бы ты, как это все. Девушку обмануть не так уж трудно. Есть спецы... Это горе наше бабье, когда так... На счастье ведь надеешься... не просто... А ты, поди-ка, разгульной меня посчитал... Нет, Зося. А жить и мне надо, какая ни есть. Пойми ты меня. Забудь, если можешь... Я ведь тоже человек. И душа есть.

Катя умолкла. Лицо ее вытянулось. Кожа на нем воспаленно поблескивала. Она прижала к губам кулак. Крепко прижала. Глаза ее, выцветшие за эти дни, повлажнели.

Прилив горячего чувства ударил Зосю. Он дотянулся до ее тонкого запястья, ухватил, притянул к себе. Она не сопротивлялась, послушно приблизилась к нему, села на край постели. Зося обнял ее за шею, привлек еще ближе.

— Все, Катя. Понял я. И об этом больше все, молчим.

Зося впервые показался ей настоящим мужчиной, мужем, — требовательным и строгим хозяином в их общем доме, хозяином, которого надо любить, подчиняться его воле и немножечко бояться. А она таким и представляла будущего мужа...

Эту ночь они провели вместе. Катя прижала Зосины руки к своей теплой груди, зажмурилась, замерла. Зося лежал прямой и строгий, словно был привязан к жерди. Он не спал. И Катя оттого не засыпала. Что-то еще оставалось между ними недосказанное, мешающее.

— А хороший дядька Чубенко, — шепотом рассказывала Катя последние события. — Я реву, увольняться к нему пришла, чтобы уехать от стыда. А он говорит: поборись за свое счастье, Березкин, говорит, парень в душе хороший, найди к нему подход — и наладится у вас жизнь, веселая будет. Поймешь, говорит, ты его. А бегать от мужей, говорит, последнее дело. От первого убежишь, поревешь с горя — от второго бежать будет уже легче. Так и пойдет жизнь наперекос. Я слушаю, вижу, что он прав, а сама думаю — какой же к тебе подход? Так и не придумала ничего. Не взял он у меня заявления. Умница какая... А мне бы так и не отыскать к тебе тропки, кабы ты опять не заболел...

— Несчастье помогло, — вслух сказал Зося, и Катя в темноте почувствовала, что он по-хорошему улыбнулся. Напряженные Зосины руки обмякли, стали почти нежными. Катя ближе придвинулась к нему, но он снова заговорил.

— А бабка горбатая чего?

— Представь — советовала. И почти то же самое. Только она как-то по-старинному толковала, но все равно, чтобы я от тебя не уходила, чтобы слушалась тебя, терпела.

— Дураки мы. Насмешили людей, — вздохнул Зося. И Катя подумала согласно с ним. И оба понимали, что дальше станут жить умнее.

Скоро Зося заснул, счастливый новым счастьем, успев лишь подумать, что надо бы до конца вылечить Катини руки и что Чубенко и впрямь золотой мужик. А Катя еще долго не спала, лежала не шелохнувшись, тоже счастливая, что кончилось ее и Зосино сиротство, заботливо думала о будущем... что муж скоро совсем выздоровеет, разделяется с этими паршивыми деньгами... И будет у них — жизнь.

18

Зося глядел в окно и завидовал тем, кто на улице. Пробежаться бы по первому ледку, по закаменевшим кочкам, подышать во всю грудь! Или взяться за работу, изо всех сил, хотя бы и с кувалдой... Ничего мрачного и пугающего не осталось в душе. Зося сладко жмурился, и что-то трепетало возле сердца.

А Катя, как и вчера и позавчера, ушла па работу еще потемну. Жилой дом, пятиэтажный, шестидесятиквартирный — первый такой домище в городе был уже под крышей и остеклен. Оставалась отделка. Пришла пора Катиной работы...

А вчера заходил Чубенко и заявил с улыбкой во всю свою черную рожу, что в ММС решили Зосе квартиру не давать за его художества, а Кате — дать двухкомнатную и что если Катя возьмет в эту квартиру Зосю, то администрация возражать не будет, потому что по части семейной жизни таких прав у них нету.

— Все понял? — спросил Чубенко, подмигивая.

— Мы люди маленькие, — вздохнул Зося с ухмылкой и подфыркнул посом. — Перед начальством и народом виноватые. Нам возражать не приходится.

— Артист! — сказал Чубенко. — Неправильный! — И хохотнул понимающе. — Ладно, повишнюю голову меч не сечет.

...Зося стоял у окна и не видел улицы. Мысли прыгали: Катя, Чубенко, квартира... Нет, насчет Кати все было ясно. А вот начальники? С чего они такие добрые? Надо бы идти и поговорить с мужиками всерьез. Иначе как же? Дураком перед ними быть? Чтобы за нос водили? Нет, дудки! Пусть ругаются врачи, а он пойдет. Потому что эта загвоздка в голове — хуже болезни.

Он оделся потеплее и пошел. Ноги легко несли его похудевшее тело. Морозная свежесть щипала в носу, шумно врывается в легкие, отчего их даже ломило. Зося с удовольствием чихнул несколько раз подряд — стало совсем хорошо. Он шел, не разбирая дороги. Теперь, по морозу, везде можно было пройти напрямую. Он помнил слова Кати о том, что Пашина избрали профсоюзным богом и что у него есть отдельный кабинет.

Пашин будто ждал его, заулыбался, первым протянул руку.

— Здравствуй, Изосим Изосимович!

— Здравствуй, Иван Иванович.

— С чем пожаловал? Как здоровье?

— Не очень меня люди-то клянут? — с ходу заговорил Зося о главном, уставившись в светлые глаза Пашина. — Сам-то как обо мне думаешь?

— Всяко, — не сразу ответил Пашин. — Кто клянет, а кто и жалеет.

— Ну, жалеть-то меня не за что.

— Правильно рассуждаешь. — Пашин даже обрадовался Зосиным словам. — Видно, понял ты кое-что, пока болел. В таком случае бюллетень тебе надо еще продлить, если на пользу.

Пашин засмеялся, довольный своим остроумием. Но Зося не поддержал шутку.

— Понял, да не все. Вот и пришел. Непонятно, отчего мне все прощают. Не может такого быть, чтобы люди легко прощали... Мучит это меня.

— На работу выйдешь — успокоишься. Забудешь за делом.

— А если каждый мне в глаза старым будет тыкать! Разные ведь люди-то.

— Что ж. Маленько и потерпишь. Поговорят и перестанут.

— А ты-то, Иван Иванович, чего меня защищаешь? Помнишь ведь?

— Как не помнить, — вздохнул Пашин, но заговорил с прежней доброй раздумчивостью: — Помню. Ну, а что я, по-твоему, должен делать? Мстить? Начни я мстить — ты еще больше рассвирепеешь. И пошло бы!

— Пожалуй, так, — невесело согласился Зося.

— Точно, — убежденно сказал Пашин. — Человечностью тебя взяли. Вот ты и сам человеком становишься.

— Хитрые вы, дьяволы, — покачал головой Зося. — Кругом меня объехали, и сами хорошими остались. А дальше-то что от меня потребуете?

— Чтобы хорошенько поправился и выходил на работу.

— Это и так будет. Только не верится мне, что все это с вашей стороны без тайного умысла. Все будете помнить! А при случае и ткнете в глаза: сиди, мол, и помалкивай, взятый на поруки, пока...

— Это от тебя будет зависеть.

— Чувствую, что от меня. А вы уж на меня арканчик накинули и за веревочку держите... А если я не согласен на такую жизнь? Если я вам не верю и не могу быть для вас послушным паинькой? Тогда как?

Зося и сам слышал, что занесло его далековато, но остановиться уже не мог. Что-то холодное рвалось от души, требовало полной ясности. Зося уставился на Пашина с недобрим прищуром. Нахмурился и Пашин.

— Все, что ты сказал, мне понятно, — заговорил он, подумав. — Ты еще помучаешься. И нас помучишь... Судьба у тебя, конечно, не сладкая, вот ты и озлился. Но и оттаять пора. Пора, брат.

— Как — оттаять? Я теперь вроде хуже всех. А я двуличным быть не хочу. Не могу. Химичил, не отпираюсь, но хоть на собраниях-то не болтал, что я хороший!

— Правильно. Это у тебя есть. Оттого тебе и верим.

— А я вот думаю, не все правда, что мне предъявляют. То есть все, конечно, так — но не все плохо... Я, может, не из-за одних денег... Мне, может, работать нравится — две смены подряд. Могу я. Да и бульдозеру чего стоять вечерами без пользы! Он ведь железный!

— В чем-то ты прав. Но и путаник большой. Себя не знаешь, — сказал Пашин. — Слушай тогда мою правду. Честно скажу, что я о тебе думаю, и почему с тобой нянчатся — скажу.

— Ну-ка, давай.

— Счастливый ты от рождения, вот что. В тебе словно три человека сидят. Один — горячий и, я тебе прямо скажу, талантливый даже, и большой работник. Второй — озорник. Третий — проныра, почти что жулик. За всех троих ты можешь воз везти. Бывает, и везешь. Но образования у тебя — с гулькин нос, воспитания и того меньше. Оттого в тебе эти три человека сразу уживаются и ни один верха взять не может. А надо, чтобы командовал в тебе тот, который поработать любит от души. Ну и весельчак чтобы голос подавал при случае. А жулика надо гнать.

Пораженный Зося задумался. Никогда еще не раскладывали его душу на такие части при нем же. Он понял, что все сказанное о нем — действительная правда. И растерялся. Гордость оттого, что он такой тройной, богатый и необыкновенный, родилась и спряталась.

— Кем ты сам-то хочешь быть? Ударником или пронырой? — спросил Пашин. — Категорически уверен, что можешь стать и тем и этим. Как пожелаешь.

— Да чего ж тут гадать... Жена у меня. И перед народом... — замялся Зося. — Да и сам... Ну, хорошо. Но у меня еще есть вопрос. Дело делал я один. И попался. Ну ладно. Пусть я виноватый. А видывал я такие бригады, дружные такие компании, в которых все заодно. Умеют они и деньги сорвать, и выручить своего. И всем хорошо. И суд у них свой. И все прочее. В такой бригаде я бы

не пропал... Тем более не для себя только люди ворочают.

— А ты шире можешь взглянуть? — перебил Пашин.

— Как это — шире?

— А представь, что такая дружная бригада, это наша ММС. Все друг за друга в ней — горой. Общего успеха добиваются и хорошего заработка. И не только для себя ворочают, для общей пользы.

— Посто-ой! — заволновался Зося. — Чудное ты говоришь, хотя и на правду похоже. Только вот правда у тебя чистенькая. А в жизни не так, правда горькой оказывается. Но и подлецы в ММС есть. С ними-то как?

— А подлецов — своим судом... Ты ж испытал. А правда должна быть чистой. Это точно. Но ежели и горькой она окажется иной раз, то ведь и в горечи есть своя радость. Опытней будем после горькой правды, умнее, жить лучше будем. И не только для себя — и чтоб другим лучше жилось.

Зося поднялся. Был он взволнован и разгорячен. Что-то бурлило в нем, созревая. Пашин тайком поглядывал на него и понимающе улыбался.

Они вышли на улицу. На город уже опустился ясный вечер. И первые звезды проснулись, чтобы светить в неоглядном сером небе всю ночь. Зося шел молча. А Пашин говорил:

— Вот такой надежной компанией, выражаясь по-твоему, и должна быть наша ММС. Главарь в ней — Чубенко, голова у него на плечах есть. Но и мы все в ответе, каждый со своей головой.

— Ты этак всю страну компанией назовешь, — буркнул Зося.

— А что? И вся страна у нас заодно должна, мы об этом много думаем.

Зося снова задумался.

— А ты-то, Иван Иванович, так живешь, как мне советуешь? — вдруг доверчиво спросил он.

— Стараюсь.

— И получается?

— Всяко бывает...

— То-то. Хорошо, что честно сказал. Я тебе верю.

И опять они шли молча. У Зоси разгорелось лицо. Пашин едва успевал за ним, пряча улыбку в воротник пальто.

— А ты партийный, Иван Иванович?— спросил Зося.

— Да. А что?— Пашин глянул в лицо Зоси.— Я давно партийный.

— А вы, партийные, живете по своему уставу?

— Конечно. Есть у нас устав.

— А можно его почитать? Мне вот, беспартийному...

— Можно, это не секрет.

— Дак дай!

— Нету у меня при себе. Приходи завтра, найду.

— Мне бы сейчас.

— Эк загорелось.

— Ты не смейся! Над этим нельзя насмеяться. Где он у тебя?— Зося остановился, нагнулся к Пашину, схватил его за рукава. И такое у него было в этот момент лицо, что Пашин все понял.

— В конторе, кажется, есть, в столе,— сказал он.

— Пошли!— то ли умолял, то ли требовал Зося. Он развернулся обратно, таща Пашина за рукава. Пашин выдернул рукав из его цепких пальцев, крикнул, пошел с ним плечо в плечо.

Дома Зося поужинал и успокоился.

— Да, строго написано. А ведь так и надо, чтобы порядок был. И все вроде бы ясно. Попросту говоря, за справедливость стоять, хорошим людям добро делать, а подлецам — морды бить. Или не совсем так? Нет, смысл я уловил. Все ясно,— рассудил он, прочитав устав и поглядывая на жену загадочно-смеющимися глазами.

Катя взяла из рук книжечку и удивленно уставилась на мужа.

— Тут про кулаки, наверное, нету,— сказала она. Зося вскочил, обхватил ее ручищами, подбросил к потолку, да так и держал, расплываясь в улыбке еще шире.

— Пусти! Голова кружится,— взмолилась Катя.

Он мягко поставил ее на ноги. Глаза его хохотали.

— И когда ты поумнееешь,— хмурилась Катя, пряча счастливую улыбку.

— Это очень хорошо,— восторженно рассуждал Зося.— Это очень нужно, чтобы жена мужика любила. Обязательно! Но настоящему мужику этого мало. Понимаешь?

— Что, одной жены тебе мало?

— Мало. Мужику надо... Много! Делать ему надо, ворочать что-то этакое... Из всех сил! А то и сверх.

А иначе он что? Так, к жене пристежка. Вот до чего я своим умом дошел, Катя.

— Шарахает тебя из стороны в сторону. Опять что-нибудь натворил.— Катя улыбалась мужу, но и тревожилась за него. А Зося глядел на нее и безмятежно скалил зубы. Родной и забавной казалась ему призадумавшаяся жена.

Он схватил ее ладони, прижал к своим колючим щескам. Катя охнула, отдернула руки.

— Болят?— испугался Зося.

— Работы много,— призналась Катя.

— Штукатурить начали?

— Тепло дали от новой котельной, вот и начали. А нас и всего-то три бабы.

— Та-ак,— задумчиво произнес Зося.— Понятно. Жена выходит на передний край... А муж дурью мается.

Он еще что-то болтал, шутливое и малопонятное. Катя не слушала его, махнула рукой. И то ладно, что в хорошем настроении муж. Пусть тешится.

На другое утро Зося увязался за ней, проводил до работы. Бюджетенить ему осталось один день — пятницу. Дальше надо было пережить два выходных, а в понедельник он должен был встретиться со своим бульдозером, который уже волокли в ММС.

Новый дом возвышался над улицей, гордо поглядывал на приземистые домишки и сараюшки, разбросанные по городу. Зося не поленился забраться на самую верхотуру. Город перед ним был как на ладони. За окраинами виднелись и деревни, большей частью хорошо знакомые Зосе. Отсюда казалось, что и не избы стоят внизу, а игрушечные клетушки, обложенные со всех сторон голиками. Собственный дом и вовсе не приглянулся Зосе: плоский, с черными дырами на крыше. Зося присвистнул и пошел вниз.

— Показывай свою работу,— заторопил он Катю.

— Гляди,— сказала она, распахнув двери в первую квартиру.— Эту мы закончили. Два дня маялись. А в доме шестьдесят квартир да лестницы... Вот и считай, сколько нам тут корпеть. А надо ведь и красить после штукатурки.

— Ясно, ясно,— приговаривал Зося.— А материалы-то есть?

— Все коридоры цементом завалены. Во дворе — гора песку. Об этом начальство позаботилось. Раствора на весь дом можно наделать. А красок пока нету.

— Все ясно,— подытожил Зося.— Не работа, а каторга. И долгая. Надо принимать меры.

— А что ты сделаешь?

— Можно кое-что сделать.

— Смотри... Куда пошел-то?— с тревогой спросила Катя.

— Да к Пашипу,— сказал Зося, стараясь придать голосу искренность. Катя вздохнула, глядя ему вслед.

Но Зося и в самом деле пошел к Пашипу, который встретил его с тем же радушием, как и днем раньше. Зося выложил устав.

— Ну и как? Согласен с линией?

— Согласен.

— Я вот зачем хотел тебя видеть,— переменял тему Пашип.— На-ка, держи. Это путевка. У тебя что было? Простуда, осложнение на легкие. С этим не шутят. И матушка твоя легкими страдала. Чуешь? Так что тебя надо оградить. В воскресенье вечером выезжать.

Зося ошеломленно разглядывал путевку. Никак не укладывалась в его планы поездка на курорт.

— С женой бы надо посоветоваться,— сказал он.

— Поймет жена. Рада будет. Кому хворый муж нужен?

— Так уж я и хворый!— взъерепенился Зося.

— А так,— твердо сказал Пашип,— у нас, считай, двести человек работающих, а врачи персонально на тебе настаивают. Так что конец разговору. До встречи через месяц.

Пашип выразительно глянул на двери, и Зося задумчиво вышел. Путевка, которую Зося придерживал в кармане рукой, заставляла теперь думать быстрее. В его голове все отчетливее вырисовывался план предстоящей операции. И когда он стал ясен в деталях, Зося без промедления приступил к делу.

Его видели возле горкомхоза. Он шептался с парнем своих лет, одетым в умазанный красками комбинезон. Оба поминутно оглядывались, словно боялись, что их подслушивают. Но если бы кто-то и находился поблизости, то вряд ли что-нибудь понял бы из их разговора.

— Песок, цемент?— коротко спрашивал парень,

— Хватит,— бросал Зося.

- Вода?
- Помпу надо.
- Найдем. А тепло?
- Обеспечу.

Потом вопросы задавал Зося.

— Распылители-то у вас есть? Чтобы и штукатурку не с лопатки кидать. И малярить не кисточкой...

- Имеется.
- Краски?

— Кусаются они, но найдем. Многовато надо.— Парень вздохнул.

— Деньги на бочку,— уверил Зося.

— Задаток требуется,— сказал парень.— Потому что идея неясна. Дом казенный, а платишь ты.

— Может, я уполномочен. Дело-то ведь такое... Нашему директору не с руки с вами связываться. А мне... что ж? Объявят мне выговор, для виду. А в глаза — похвалят. Выговор — не туберкулез, с ним можно жить.

Зося отсчитал десятки. Они крепко пожали друг другу правые руки. И в этот момент пачка червопцев пережочевала из левой Зосиной руки в левую руку парня.

— Сроки?— спросил парень.

— В понедельник к утру.

Парень молча зашевелил губами, что-то считая в уме.

— Два дня и три ночи, хватит,— уверенно заявил Зося.

— Такое дело нельзя плохо сделать,— озабоченно проговорил парень. И они расстались, еще раз беззвучно ударив по рукам и с полным уважением глянув в глаза друг другу.

Чуть позже Зося снова очутился на территории ММС, теперь в новой котельной, где долгонько судачил с кочегарами.

— Условия ставлю такие: не пить, шуровать вовсю, чтобы штукатурка за сутки до звона высохла. Ясно?

— Чего ясней. Сказали — сделаем,— заверили кочегары. Зося пожал их черные руки и ушел, совершенно довольный собой.

Оба выходных дня он пускал в ход всю свою изобретательность, чтобы Катя не выходила из дома. Заставлял ее еще и еще раз отбирать и гладить ему в дорогу белье, заводил всякие разговоры. Сам бегал на колодец и в магазин. И долгонько бегал, потому что каждый раз оказы-

вался возле пятиэтажного дома. Отходил от него с улыбкой. Из дома доносились многочисленные голоса, шум каких-то движков.

...Когда Катя пришла в понедельник на работу, ее поразила картина разграбленного двора. Начисто растаяла заснеженная гора песку. В коридорах не осталось ни одного мешка с цементом. Но Катя совсем перестала верить своим глазам, когда увидела, что все до единой квартиры отделаны начисто: побелены потолки, оштукатурены и блещут краской стены. Оставалось только полы помыть. Катя села на лестнице и взялась за голову. Подруги ее бегали по этажам и визжали от изумления.

— Чем это все кончится? — горько сказала Катя.

В этот понедельник в доме побывало полгорода. И почему-то все были уверены, что без Зоси здесь не обошлось.

— Ай да Зося! — сказал Пашин, останавливаясь. И больше ничего не сказал.

— Ой, Изосим, — сказал Чубенко и долго таращил глаза.

— Ну, Березкин! — недобро проговорил милиционер Василий. Он был уверен, что без хищения социалистической собственности тут не обошлось, и поморщился оттого, что теперь-то волей-неволей придется заводить на Зосю серьезное дело.

...А Зося ехал в плацкартном вагоне на юг, усердно пил чай. Лицо у него было такое, будто он вот-вот расхохочется, потому что один он во всем поезде знал до невозможности веселую и удивительную историю, рассказывать которую было еще нельзя.

19

Зосю ждала с курорта вся ММС, а может, и весь город. На время он стал самым популярным человеком. О нем говорили всюду, восхищались, кричали, крутили головами.

С курорта он прислал два письма: Кате и Чубенко. Катя всплакнула над письмом, потому что написал ей Зося много всяких хороших слов и клялся купить ей путевку на курорт, где ей вылечат руки. Плакала Катя еще и оттого, что мужу грозили неприятности.

Чубенко жирно подчеркнул в Зосином письме четыре строчки: «Знаю, что будут прищучивать ребят из горком-

хоза. Так ты отдай им краску. Больше они со своего склада ничего не брали. А меня извини, что не согласовал вопрос. Но не мог я видеть, как тянут с этим домом, а люди извелись ждавши. Да и деньги, которые у меня никто не принимал, надоели, хоть давись». Чубенко показал письмо Василию. Тот прочел, собрал свои бумаги и заявил:

— Он и в письме насмехается. Беззаконие, конечно, явное. Но не могу я его привлекать. Никакая статья не подходит.

— А как же мы все это документами оформим?— задумался Чубенко.

— Вот и думай!— озлился Василий. Ему показалось, что Чубенко вовсе не встревожен, а даже доволен, что так получилось.— Если что-нибудь незаконно проведете по документам, на тебя дело заведу. Походишь тогда, пообъясняешься!

— А ты-то чего злишься?— спросил Чубенко.

— А ну вас! Все у вас не как у людей. С ума сойдешь,— заворчал Василий и ушел.

— Это тебе не статья в кодексе, а живые люди,— проговорил Чубенко с удовольствием в сторону захлопнувшихся дверей. В душе он восхищался Зосиной предприимчивостью. Чубенко уже выбрал в доме квартиру для себя. А жена писала, что приедет через несколько дней. И Чубенко пытался представить, как она обрадуется...

...Зося приехал ночным поездом. Его встретила Катя. Была она глухо укутана в шаль, держалась в сторонке и Зосю поспешила увести с освещенного людного перрона. Зося что-то толковал ей восторженное про курортную жизнь, а Катя не слушала его, торопила. Они подошли к старому дому, и Зося свернул к своему заулку.

— Ты что? В трубу лазишь или опять к бабке переселилась?— недоуменно спросил он, увидев, что подворье занесено снегом и нет к крыльцу ни одного следа.

— Новый у нас дом. Пойдем скорее.

— Что? Всерьез переехала?

— Ну да.

— Поглядим!— радостно заорал Зося. Он подхватил Катю под руку и чуть не бегом припустил к новому жилью. Только теперь он разглядел, что Катя не в настроении.

— Ты чего такая? Ведь новоселье, новая жизнь!

— Дома расскажу,— тихо ответила она.

Они поднялись по освещенной лестнице. Катя открыла дверь, сказала, слабо улыбувшись:

— Входи, хозяин.

Из квартиры пахло теплом и такой чистотой, что Зося принялся испуганно вытирать ноги, не решаясь переступить порог.

— Почти всю ММС сюда переселили. И директор, и Пашин, и твой друг Василий тут,— рассказывала Катя.— И прошу не ворчать. Я деньжонок твоих порядочно поистратила: обстановку, телевизор, шторы, коврики купила. Все так делали. Ну и я.

— Какие это мои деньги?— возмутился Зося.— Нет у меня ничего. Все — наше. Нет. А чего ты как в воду опущенная? Или стряслось что?

— Ой, тебе весело. А горкомхозовским ребятам не до смеха. Скандал у них. Шум,— говорила Катя.— Премий их лишили. А бригадиру товарищеский суд устроили.

Зося помрачнел.

— Ну что за люди!— злился он.— Ведь большое дело сделали. Должны бы понять! Одно расстройство... Приехал — на жене лица нет. Что за жизнь такая? А что теперь-то делать?

— Ложись. Постелено,— грустно сказала Катя.

Нет, не такой встречи ожидал Зося. Он почти не спал остаток ночи. Утром пошел в горкомхоз. Там ему быстро нашли парня. Тот вышел хмурый, не поздоровался. Зося отвел его в сторону.

— Есть выход,— горячо убеждал он парня.— Тебе все равно здесь не жизнь. Переходи к нам. Пошли сейчас же к директору. Он тебя с руками оторвет. Пофыркает для виду, а на работу возьмет. У тебя какое образование?

— Техникум кончаю. Строительный. Заочно.

— Ну! Ты же страшный дефицит! Строитель! Чубенко через полгода тебя сделает своим заместителем по строительству!

— Не загибай.— Парень остановился.— Не сбивай меня с толку.

— Ну пусть не заместителем. А старшим прорабом будешь!

— Не должность мне надо.

— Сразу и не дадут. Нельзя сразу, после такой истории. Понимать надо.

И они двинулись к ММС.

Чубенко принял их сразу. Зося глянул на него и понял, что большой грозы не будет, но повиниться, выслушать кое-какие не очень приятные слова — придется. И даже следует. Зося представил директору парня, который стоял с опущенной головой и мял в руках шапку.

— Оба главные пришли, значит, — приветствовал их Чубенко. — Рассказывайте, как это вы...

— О чем рассказывать? — невинно спросил Зося.

— Обо всем. Как сговорились. Как дело провернули.

— Это всем известно, — ответил Зося. — Чего слова тратить.

Парень стоял и маялся. Расспросы о халтуре ему надоели до того, что хоть из города беги.

— Мы все понимаем, — бодрее заговорил Зося. — Вы должны нас ругать, меня — наказать, или еще там как... Но ведь все в пользу обернулось! Так ведь?

— Ох ты и жук! — сказал Чубенко. — Есть в твоих словах смысл. Но про моральную сторону дела ты забыл. Сколько ты этого морального вреда принес — не счесть! Люди волнуются. Кто в сомнении насчет порядка и законности впадает, кто мучится, наказанный. Вот к чему твоя ловкость привела. И друг твой стоит и страдает. А с тебя — как с гуся вода. Он бы тебе физиономию должен набить, а вы чуть не в обнимку ходите. Что вы за люди? Зачем ты его ко мне привел?

— К нам его надо устроить, — горячо заговорил Зося. — Замордуют там парня. А он строительный техникум кончает. Нам как раз такого человека не хватает. Я за него ручаюсь.

В кабинете установилась напряженная тишина. Наконец Чубенко распорядился:

— Ты иди, Изосим. Я с ним поговорю.

Зося послушно вышел. Словно гора свалилась с его плеч. Он долго сидел дома задумчиво и неподвижно. А вечером заявил Кате:

— Все. Кончились мои номера. Буду теперь самым правильным. Надоело. Ты же стараешься пользу сделать, ты же и виноватый кругом.

Катя вздохнула.

Весна пришла самая обычная: ни рано ни поздно,

с капризами и с яркими деньками. Почти не взволнованный предстоящим сезоном, Зося работал на ремонте и думал об одном: как бы получше отладить свой бульдозер.

Остепенился за зиму Зося. Уверенностью и силой веяло от его поплотневшей фигуры. И руки уже не казались непомерно длинными, налились они мужицкой тяжестью. А глаза у Зоси потускнели. Он частенько распрямлялся возле своего бульдозера да так и стоял. То ли думал, то ли скучал. А потом снова принимался за работу, потому что долго жить без работы он не умел.

Находил он себе дело и в выходные. По просьбе Кати привез дров горбатой старухе. Во дворе построил сарай и перенес в него свою домашнюю мастерскую, которую соседи тут же прозвали комбинатом бытового обслуживания.

...Наступили Майские праздники. Зося посмотрел демонстрацию по телевизору и вышел во двор. На улице было солнечно и тепло. Восторженно гомонила ребятня. На скамеечке во дворе сидели и по-праздничному благодушеествовали Чубенко, Пашин и Василий. Они дружно ответили на Зосино приветствие и глядели так, словно приглашали к себе в компанию. Но не подошел к ним Зося. Вдохнул и направился на усадьбу ММС.

— Непохож на себя стал Изосим, — заметил Василий. — Что-то с ним.

— Думает парень, — сказал Пашин. — Вы и не знаете, что он у меня устав партии брал читать. Сам попросил.

— Вон как! — удивился Чубенко. — Честно говоря... мне его жаль. Убили мы в нем веселье. Хоть и глупо, бывало, веселился он...

— У него от веселья до преступления один шаг, — сказал Василий. — Тихий он мне больше нравится.

— А мне — нет, — возразил Чубенко. — Люблю, когда люди весело работают. И живут.

— Это у него временно, — сказал Пашин. — Много я людей видел на своем веку, а не помню ни одного, чтобы резко этак переменялся человек. Каким родился, каким вырос — таким и умрет. И Зося еще почудит. Будьте спокойны.

— Как хотите считайте, а мне он несколько уроков дал, — заговорил Чубенко. — Даже руководить я у него учусь кое в чем.

— Как это? — недоверчиво полюбопытствовал Василий.

— А хоть и с прудами для частников. Нужны пруды людям, а мы не роём. А почему? Да только потому, что не доперли своей головой, что рыть их надо. И кроме нас — пока никому. Это раз. А с домом разве не урок? Урок! Да еще какой. Могли же мы со своей стороны людей нанять, воскресники провести? Могли. А мы не спешили. Вот и мораль... Не думал я как-то об этом, текучка заела. А надо думать. И директору, и завкому.

— Предчувствую я, в праздники он опять какую-нибудь штуку выкинет, — сказал Василий. — В ММС сейчас пошел. Чего ему там надо в праздник?

— Он у меня недавно железа просил для оградки на могилу матери. Думаю, за этим и пошел, — сказал Чубенко.

— Оградку он сделал. Два дня тому назад увез, — уточнил Пашин. — Я ему с машиной помог.

И в этот момент возле дома показался Зося. Он шел согнувшись, тащил на спине что-то грузное.

— Ну вот! — привстав, проговорил Василий. — Опять что-то волочет.

Зося с грохотом сбросил ношу возле крайнего, не своего подъезда.

— Не себе. Значит, снова халтурка, — определил Василий.

Все трое, с начальственной строгостью и напряженными глазами подошли к Зосе.

— Это что? — первым спросил Чубенко.

— Не понять, что ли? — ответил Зося. — Решетки к подъездам. Сам варил. Чтобы грязи помельче в дом таскали.

Все трое облегченно вздохнули. А Зося, все поняв, усмехнулся и прикрыл смеющиеся глаза.

У самой железной дороги

1

Крутец — это крошечная железнодорожная станция. Рядом поселок, тоже Крутец.

Откуда взялось такое название — сказать трудно: ничего крутого нет ни в поселке, ни вокруг него, отойди хоть на двадцать верст в любую сторону. Поезда ходят редко и не быстро. Местность — ровная, не знавшая ни землетрясений, ни наводнений. Люди живут размеренно. Словом, ничего поражающего воображение здесь нет. разве что па лесных проселках и встретишь какой-нибудь замысловатый, истерзанный гусеницами тракторов и действительно крутой спуск в ложбину. Но что говорить о проселках! Люди здесь гордятся тем, что живут у самой железной дороги, не как некоторые...

В округе Крутец известен тем, что в нем базируются ремонтные мастерские районной сельхозтехники. Была здесь когда-то целая МТС, отчего поселок разросся до двух улиц с дощатыми тротуарами-мостками. Возможно, в те годы и считался Крутец бойким местом, а сейчас тут тихо, если не принимать во внимание гудки паровозов, рев тракторов, петушиный крик и мычание коров, к которым все одинаково привыкли.

Спокойно живет Крутец. Давно уж отсюда не поступало в вышестоящие инстанции никаких жалоб. Только начальник мастерских Гайкин Кирилл Кириллович время от времени требует у начальства ассигнования на жилфонд. Но это не жалоба, это деловой вопрос.

Необходимость просить ассигнования возникает у него нечасто, но довольно регулярно. Всякий раз, когда в мастерские приезжают представители, Кирилл Кириллыч втайне страдает и чувствует себя никудышным хозяином, потому что не имеется при мастерских ни свободного

жилья, пи комнаты для приезжающих. И Гайкин принимает одно и то же решение — ведет гостя к себе, утешаясь тем, что он внесет в его холостяцкое бытие некое разнообразие.

Вообще-то, Гайкин человек нездешний, но в Крутце давно свой. Прислали его сюда после окончания института. Здесь он отметил свое двадцатипятилетие, здесь разменял и четвертый десяток. И за все эти годы начальство так и не решилось выдвинуть его на работу повыше, хотя бы в райцентр. Многим однокашникам Гайкина, осевшим в городах и преуспевшим по службе, это казалось крайне несправедливым. Но тут надо учесть, что замену себе на месте Гайкин не подготовил, никого не вырастил до должного уровня, а ехать на его должность в Крутце охотников не находилось.

И все же на судьбу Гайкин не обижался. Лямку свою тянул честно и исправно и считался руководителем из числа тех, кто вполне на своем месте. Он и с виду был похож на таких: спокойный, знающий дело, с подчиненными — вежливый и уверенный, с начальством — внимателен и чуть застенчив, а в нужном случае — в меру энергичен. Были у него и отдельные недостатки: он не любил рисковать, не любил шумных новостей, не любил критику в свой адрес, особенно если она шла сверху. Начальство давно заметило эту слабину и критиковало его. Но если разобраться по-настоящему, то делало оно это лишь с одной тайной целью — чтобы не зазнался Гайкин, не почил на лаврах регулярного выполнения плана и не позволял себе думать, будто достиг он права на выдвижение.

Крутецкие жители привыкли к тому, что если Гайкина нет в мастерских, то он обязательно дома. Или наоборот. И шли к нему с вопросами одинаково свободно как в контору, так и на квартиру.

В Крутце Гайкин нажил немало друзей и не нажил ни одного врага. Лучший друг — инструктор райкома комсомола, добрейший Сева Зайцев, заезжавший в Крутце почти на каждой неделе, шел к Гайкину на ночлег давно без спроса. Он, как дома, нашаривал в тайничке ключи и открывал замок своей рукой. С одного Севиногo визита к Гайкину и начались события, заинтересовавшие, а позднее и взволновавшие мирных жителей Крутца. О них и наша повесть.

Был теплый августовский вечер. Спрыгнув с поезда на шлаковый перрон, Сева помахал руками, разминаясь после сидения в вагоне, позевал на бледный закат, на чернеющее зданье вокзала и двинулся к знакомому дому, стараясь бодро здороваться с каждым знакомым встречным. Все бы и было, как всегда, но в этот раз Сева заметил, что вслед за ним идут двое парней, с чемоданами. Нездешние парни. Идут и идут. Не догоняют, но и не отстают, озираются на перекрестках. Сева стал откровенно разглядывать их с улыбкой, приглашающей к разговору. Через минуту он уже знал, что парни прибыли из института по распределению и ищут Гайкина. Сева обрадовался их комсомольскому возрасту: это были как раз те люди, которых не хватало Крутцу, — и повел их прямо к Гайкину.

На правах начальника, Гайкин занимал половину двухквартирного домика из бруса. Во второй квартире жила бухгалтерша мастерских с семьей, отчего Гайкин имел некоторые неудобства, потому что бухгалтерша считала своим долгом приглашать его в гости на каждый праздник, а он твердо решил, что ходить по гостям к подчиненным не следует: пойдти к одному, к другому, к третьему — все будут звать. А к чему это приведет? Однако у себя Гайкин гостей принимал и мог собрать стол.

Гайкин не удивился Севе и его сияющему лицу. На новичков глянул мельком, без особой радости.

— По каким вопросам? — спросил он, насторожившись и еще не желая думать, что парни — верные почлежники. Парни вежливо кашлянули, не решаясь ставить свои чемоданы.

— В твоём полку прибыло! — закричал Сева, стараясь заразить Гайкина своей радостью. — Это же дипломированные инженеры! С иголки. И оба — тебе!

— Вот новость! Кто же так расщедрился? — не сразу, но честно изумился Гайкин. Он припомнил, что начальство намекало ему на возможное пополнение итээр. Но такие обещания были и раньше. И вот — па-ка! «Куда же я их жить определяю?» — мысленно спросил себя Гайкин, начиная тревожиться еще больше... Вообще-то, молодым инженерам он должен был только радоваться. Он и в самом деле радовался сейчас... Хотя еще черт их знает, что они за люди.

А люди стояли у порога, чемоданы в руках и переводили глаза с Сева на хозяина, словно были виноваты, что обеспокоили начальника в неурочное время. Гайкин тоже не сразу сообразил, как надо вести себя. Неловко было прямо вот так их разглядывать. Однако успел заметить, что парни сшиты не на одну колодку. Тот, что пониже ростом, похоже — ясный человек. А второй — из тех, кого не вдруг раскусишь: красивый уж больно парень, вроде бы и ни к чему парню быть таким красивым. Одет с явными претензиями на последнюю моду... Но ведь и среди таких бывают дельные и приятные люди. Красивые и по службе быстрее продвигаются...

— Представляйтесь начальству, бирюки! — тормошил парней Сева.

— Чистяков, Валерий, — эффектно поклонился красавец.

— Иван Иванович, — сказал маленький слабым голосом и зашелся в румянце. У Гайкина потеплело в груди: вспомнил, что и его в институте тоже не в обиду звали Кириллом Кириллычем, и был он тоже тих и робок, и в жар его бросило до пота, когда он вот так же пришел представиться своему первому начальнику.

— Располагайтесь как дома, рассказывайте, а я чайшечку соображу, — заговорил, захопотал наконец Гайкин, становясь по-студенчески доступным и простым.

— А что к чайшечке будет? — провокационно любопытствовал Сева, подмигивая новичкам.

— Найдется, — без особого энтузиазма ответил Гайкин из кухни.

Новые инженеры сидели чинно, молчали и разглядывали квартиру: щурились на корешки книг, густо облепивших железную полку па трубочатых погах (сразу видно, что в своих мастерских полка сварена), оценивающе задержали взгляд на телевизоре, осторожно брали журналы, разбросанные по стульям и подоконникам. Сева и Гайкин, бегающие с посудой, все еще не могли их разговаривать.

За столом все оживились.

— Слушайте его во всем, и карьера ваша начнется счастливо, — наставлял новичков Сева, предвкушая удовольствие начавшегося мальчишника. Доверчиво улыбаясь, слушая его, Иван Иванович, а Валерий неопределенно гримасничал: то у него ломались и подпрыгивали брови,

то дергались уголки губ, словно он надумал что-то, но еще не решался сказать. Но все это у него получалось красиво и чуточку загадочно.

— За приезд, — Гайкин поднял рюмку с портвейном. Все одобрили его гост и выпили, кроме Валерия.

— Не употребляю, — пояснил он с холодным достоинством.

— Эту марку или вообще? — удивился Гайкин.

— Вообще, — отрезал Валерий.

— Похвально, — без одобрения в голосе сказал Гайкин. Ему показалось, что Чистяков или рисуется, или уже дурачит его. Однако пириество с одной бутылкой портвейна на троих продолжалось.

— Прошу прощения, но оставляю вас на полчаса, — сказал, поднимаясь, Валерий. — Чувствую потребность осмотреть населенный пункт, пока не совсем стемнело. Интересно же — куда нас занесло.

Гайкин и Сева переглянулись, не зная, что сказать. Они наблюдали, как Валерий, совсем уже не стесняясь, охорашивается перед зеркалом, как изящно двигаются его руки.

— Видели? — растерянно спросил Сева, не обращаясь ни к кому персонально, когда Валерий вышел. И вопросительно глянул на Ивана Ивановича.

— Он — ничего, — заговорил Иван Иванович, чувствуя, что объясняться за товарища надо ему. — Он самостоятельный. Учился отлично. У него сила воли — многие завидовали. Он не разбрасывается...

Прошло несколько тихих минут. Иван Иванович заговорил снова, уже решительнее:

— Вы на меня, Кирилл Кириллович, не рассчитывайте. Я в колхоз уйду.

— В какой? — не сдержал изумления Гайкин, понимая, что говорит не то.

— В любой! — беспечно ответил Иван Иванович. — Я ведь не знаю, что тут за колхозы.

— Ну, даете вы, парни! Один в поселок бежит из-за стола, другой — вообще в колхоз!

Гайкин растерялся. Уронил с сигареты пепел на чистый половик, ругнулся. Новые инженеры уже раздражали его. «Лучше бы и не присылали их, — подумал он. — Один обходился. А теперь возись с мальчишками, выслушивай ихний бред, воспитывай, отвечай...»

— Вы меня поймете!— горячо растолковывал Иван Иванович.— Я ведь деревенский. Трактористом три года работал, отец выучил с детства. Теперь он — председатель колхоза на моей родине. Он уже в годах, от меня ждет одного, чтобы и я вырос до председателя. Со временем, конечно... И чтобы не хуже его был. А он два ордена заработал... Это очень серьезно. Он считает, что нет трудней должности... Что вы так смотрите? Бывают же такие люди! И это вовсе не плохо. Династия председателей-хлеборобов не хуже, чем какая-нибудь династия музыкантов. И не проще это...

Иван Иванович раскраснелся и глядел на хозяев так, словно искал поддержки и тревожился. Но тревога его была напрасна. Они слушали его с отменным интересом. Они еще были достаточно молоды, чтобы понимать и ценить — не без иронии, правда,— чистые порывы. Иван Иванович в конце концов, наверное, заметил это, потому что разоткровенничался еще больше.

— Ко мне и жена сюда приедет. Она — коренная горожанка, ученый библиотекарь, но это не беда. Она за мной — хоть на край земли. Так решили. Как только будет у меня здесь какой-нибудь угол, она сразу приедет. Хотите, фотокарточку покажу?

Друзья мельком переглянулись, скрыв улыбки. Они несколько секунд разглядывали снимок, с которого глядело красивое лицо, совсем еще девчоночье, в очках и с челкой.

— Видимо, решительная дивчина,— сказал Сева, крикнув.

— Да-а,— неопределенно подакнул Гайкин.

Они почти тотчас забыли про фотокарточку: их занимал сам Иван Иванович.

— Этак только в кино или в книгах молодые люди поступают,— на правах старшего ворчливо сказал Гайкин.

— А вы сами разве не из таких?— ошеломил его вопросом Иван Иванович.— Если объективно разобраться, без скромничанья? Рассказывали вам о вас в сельхозтехнике...

— Я?— только и сказал Гайкин.— Я тут ни при чем. Я старый гриб. О себе в таких возвышенных тонах тут думать не приходится. Закрутишься с делом — обо всем забудешь.

— Да мы же знаем!— не отставал Иван Иванович.— Ведь вы тоже после института, из города — и в такую

глушь. Местечко не из теплых. Иных сюда под ружьем не загонишь. Так ведь?

Гайкин с добрым пониманием старшего глядел в ясные глаза Ивана Ивановича и уж чуть было не согласился. Какой-то честолюбивый голосок подсказывал ему, что ведь и действительно он, Гайкин, сидит не на теплом месте и несет свой крест почти героически. Но Кирилл Кириллыч быстро опомнился. Согласиться с Иваном Ивановичем — значит принять в свой адрес всякие громкие слова из газет, значит загордиться, а этого он себе позволить не мог, давно считая себя человеком слабым и неудачливым. Поэтому он постарался приглушить мысли о себе и придумать что-нибудь такое, чтобы укоротить этого парня, расхोлившегося от чая и портвейна. И все же Иван Иванович был для него симпатичен. «Любопытный парнишка, — подумал он. — Есть в нем порох. Хорошо, если сразу не разобьет себе нос. Может, и не разобьет. Таких поддерживают...» Но вслух одобрять замыслы Ивана Ивановича Гайкин не стал. Не любил он никаких таких фраз. Ни говорить, ни слушать. Что из того, что он тут начальник и что мастерские выполняют план? Другие в его возрасте на космодромах командуют. И тоже, наверное, без пышных словес... «Поехали!», и все.

К чему фразы о других и о себе, если он сам считал себя самым обычным сереньким инженером, не достойным чьего-то внимания, если начальство постоянно критикует его, а он не знает, что сказать в оправдание... Бывали у Гайкина минуты, когда ему хотелось отыскать в себе и четко определить комплекс неполноценности, закрепить за собой это горькое, но утешающее обстоятельство, да и успокоиться, не рыпаться и не тужить, что заброшен он в этот Крутец навсегда. Но такое случалось редко, в часы унылого одиночества или после каких-нибудь неудач в мастерских. А была у него и постоянная, тоже не из веселых мысль. Ему казалось, что он, обиденный до скуки, способен высказывать лишь давно приевшиеся, неоригинальные суждения, да и то тусклыми словами и тусклым же голосом. По этой причине и усвоил Гайкин манеру говорить серьезные вещи и тут же усмехаться, говорить так, что не поймешь — то ли он действительно настаивает на важном, то ли шутит. И если его не поднимали на смех, не удивлялись его наивности, а прини-

мали всерьез — он и продолжал серьезно. А если иначе — смеялся вместе с собеседником, все сводя к шутке и мучаясь, что не умет ничего доказать и постоять за себя. Частенько это мешало ему и вопросы решать, особенно с начальством.

Но с Иваном Ивановичем и таким образом невозможно было говорить, потому что требовал он откровенности и словно бы видел Гайкина насквозь.

Чтобы скрыть растерянность, Гайкин встал и принялся шагать по комнате, пряча глаза. Хотелось высказаться до конца. Он со стуком распахнул дверцы шкафа, взял с полки распечатанный конверт и сунул его в руки Ивану Ивановичу.

— Читай,— сказал Гайкин и, заложив руки за спину, опять стал расхаживать из угла в угол.

Иван Иванович повертел страничку, не сразу разбираясь в пезнакомом почерке, поднял встревоженные глаза, спросил:

— И что вы решили?

— А что я могу решить?— ответил Гайкин, уже успокоившийся и немного раздосадованный тем, что позволил себе увлечься, не нажал на тормоза вовремя, похвастался письмом.— Ничего я не решал. Не для меня тамошние цеха и кабинеты. И тут с делами не всегда расхлебываюсь... Да и кто отпустит?

Иван Иванович захлопал в ладоши. Гайкин ему нравился.

— Что за секреты?— недовольно спросил Сева и осекся, потому что в дверях показался Валерий.

— Друзья к себе зовут, на Харьковский тракторный,— с вызовом сообщил Гайкин.

— Вообще-то мысль, — помедлив, сказал Сева.

— Не мысль, а великодушное дело,— уверенно встрял в разговор Валерий. Даже потка снисходительного превосходства послышалась друзьям в его голосе.— Харьков — это не Крутец.

— А сюда кого поставить?— серьезно спросил Сева.

— Незамешимых нет,— тем же тоном бросил Валерий.

Всем троиm показалось, что он помешал им разговаривать так искренне. Все трое недобрыми глазами следили, как свободно прогуливается Валерий по квартире Гайкина.

Гайкин заставил себя подавить неприязнь к Валерию. «С характером», — подумал он о нем, стараясь быть объективным.

Но дальше в своих мыслях он не пошел: не хотел да и пустыми считал всякие мечтательные размышления, как не позволил себе всерьез задуматься и о Харькове. Повизна, да еще такая, как Харьков, пугала его. И ему думалось, что тихий и до конца понятный Крутец — не столь уж темная точка на карте.

Разговор больше не клеился. Сложил на коленях руки и задумался с улыбкой Иван Иванович. Сева, зевая, заявил, что устал и сейчас заснет. Ожидаясь поглядывал на Гайкина Валерий. И Гайкин начал решать вопрос размещения гостей на ночлег.

2

А в эту минуту мимо окон проходила поселковая медичка Женя. Шла она с обычного вызова к больному, а думала о Гайкине и о себе. Привычно и, пожалуй, грустно думала, что двое их в Крутце представителей сельской интеллигенции и что вроде бы самой судьбой сведены они друг с другом, но ничего у них не получается, потому что непонятный человек Гайкин. Давно они знакомы. Один недостаток у него — робость. Особая какая-то робость. В своих мастерских он при случае и крутовато распорядиться может. И с докладами в клубе выступает, на что тоже смелость нужна. Но есть в нем что-то потаенное, закрыта какая-то дверца перед самым сердцем. И пикого он за нее не пускает. Чего боится? Почему замкнулся? Не может же такого быть, чтобы не хотелось человеку высказаться до конца хоть иногда, излить душу перед тем, кто может понять, посочувствовать, подумать вместе... И перед кем, как не перед ней, мог бы он раскрыться? Но что-то мешает ему, и он, должно быть, страдает от этого. А может, ему помочь?

Отчаянная мысль — зайти к Гайкину сейчас же — пронзила Женю. Она остановилась, прижала холодные ладони к разгоревшимся щекам. Много месяцев уже не заходила она в эту квартиру. Не боится Гайкин, хоть что с ним делай, а больше и повода нет, чтобы зайти. Дров для медпункта попросить у него, как у местной ад-

министрации, так он и насчет дров за год раньше распорядился, и тут опередил, словно оберегает себя от ее визита.

Уже близко к окнам подошла Женя, почти решилась... И вдруг увидела: за завесками движется не одна тень, а две, если не больше. Есть кто-то у Гайкина! Хорошо бы она сейчас выглядела, если бы зашла... Ужаснулась, расстроилась и, ругая себя, побежала в свою боковушку при медпункте, обижаясь на Гайкина и на судьбу.

...Скучно жилось Жене последние недели. Лето выдалось веселым: теплым и ясным. А Жене было тоскливо. Наверное, оттого, что уехала из поселка в свой долгий летний отпуск подружка — учительница Ленка. Так-то ее все звали Еленой Павловной, и ходила она по поселку в строгой темной одежде, со строгим же взглядом и сухими сжатыми губами. А в Жениной боковушке она преображалась в отчаянную Ленку, острослова и сорванца. Она брэнчала на мапдолине и нела под свою музыку частушки, порой и двусмысленного содержания. А бывало — и пригорюнясь сидела. В таких случаях разговор почти всегда заходил об одном.

— Где наши женихи, Женишка? Мы же здесь с тобой как белые вороны. Ин-тел-ли-ген-ция. Здесьние женихи глядят на нас с усешкой. Им надо таких жен, чтобы и дрова рубить, и за скотиной ходить умели. А мы?

— Не горит, — с грустной улыбкой отвечала Женя и хмурилась, потому что думала почти так же, как и Ленка.

— А если горит! — вскидывалась Ленка. — Ведь годы-то идут! Лучшие денечки пролетают. И никогда их уже не будет, не вернуться они. А мы все одни да одни. Обидно.

— Поплачь.

— И ничего такого не будет, если зареву... Мне уж сколько наших девчонок сообщили, что замуж вышли! Хотя... Странно и смешно как-то: все за трактористов. Пишут с юмором, что, мол, и зарабатывают механизаторы-мужья много, и к дому на тракторе что угодно могут пригнать. Пишут... А сами коров доят и ревут, наверное. Ведь все наше девчоночье педучилище разбросали по деревням. Я хоть к железной дороге попала — и то удача. А других в такую глушь запрятали, что туда только на тракторе и поедешь. Там без механизатора не проживешь.

— Теперь многие трактористы после десятилетки. Ребята грамотные, к культуре тянутся,— задумчиво говорила Женя.

— Бывают случаи,— соглашалась Ленка.— Судьба наша...

И вдруг она вскакивала, хватала школьную мандолину и пела, наигрывая местную кадрили, нарочито грубым голосом:

Задумчивая подруженька,
Играет гармонист.
Руки черные-пречерные,
Наверно, тракторист.

Они хохотали, тормошили друг дружку и расставались веселыми, беззаботными с виду. Едва шагнув за порог, Ленка снова делалась сухой и неприступной, готовой дать суровый выговор любому встречному.

Хорошо было с Ленкой. Можно было и к ней забежать, развлечься за болтовней, забыть о своих думах. Да она и сама заскакивала в медпункт чуть не каждый день.

Говорили они, конечно, и о Гайкине.

— Теленок с высшим образованием,— сказала о нем Ленка.— Недетена. Он до смерти холостяком останется. Знаешь, в каждом городе да и в поселке, который покрупнее, хоть один да есть такой вечный холостяк. А может, он болен чем таким?— хохотала Ленка, спрашивая Женю.— Ты бы освидетельствовала его. Это по твоей части.

— Думаю, что он вполне здоров. Только заснуло в нем полчеловека от здешней жизни. И не разбудить,— отвечала Женя.

С Ленкой было занятнее, веселей. А теперь...

Женя еще повздыхала немного и заснула, потому что привыкла засыпать и в тоскливом расстройстве..

В квартире Гайкина тоже погас свет.

Засыпающего добрейшего Севу посетила сладенькая мечта: вот он будто невзначай заходит в медпункт, да и почему невзначай, ведь Женя — здешний комсомольский бог, а Сева в любое время может потревожить таких богов — он для них инструктор. Он заходит к Жене, и она по секрету угощает его стопочкой казенного спирта, предлагает ему заночевать в медпункте, если с почлегом у не-

го еще не решено... Засыпающий Сева почмокал губами и затих. Его мечты не распространялись слишком далеко: в райцентре у него была жена.

Мысли Гайкина и прибывших инженеров были одинаково смутны и тревожны — как они поладят друг с другом и что им сулит завтрашний день...

Они и утром проснулись с тем же настроением. Первым поднявшийся Сева думал о Жене. Он не переставал думать о ней и за коротким утренним чаепитием, не отвлекали его от этих дум даже новые заявления молодых инженеров.

— Я считаю, первый день мне надо посвятить знакомству с мастерскими, — ни на кого не глядя, сказал Валерий.

— Да, да, пожалуйста, — с готовностью согласился Гайкин. — Посмотрите организацию участков, технологическую цепочку, постарайтесь запомнить все, что есть у нас из оборудования и запчастей, чтобы иметь полное представление о наших возможностях, — говорил он.

— Я так и думал, — откликнулся Валерий, словно утверждал предложение Гайкина.

— А я, если никто не возражает, подамся в ближайший колхоз. Может, там инженеры пужны, — сказал Иван Иванович с такой обескураживающей улыбкой, что сердиться на него было нельзя. На него махнули рукой и не спорили. А он продолжал: — Ведь все равно мне никто не запретит.

— Вообще-то, надо бы оставаться там, куда направил, — проворчал Гайкин. — Может, ты и не пужен колхозам. Может, здесь пужнее. Может, кончились времена, когда в колхозы брали любого желающего. Но — попытай счастья. Поезжай вон с Севай. Вам по пути.

Сева и в самом деле надо было понасть в соседний колхоз, но он не спешил. Считал, что нельзя уезжать из Крутца, не повидавшись со здешним комсомольским секретарем, тем более что секретарем этим была Женья. Радуюсь, что для задержки в Крутце и для встречи с Женей есть такая удобная причина, Сева повел Ивана Ивановича к медпункту.

— Посиди на крылечке, дыши воздухом, обзревай поселок, — сказал он ему. — У меня тут один комсомольский вопрос. Я мигом.

И скрылся за дверями, плотно притворив их за собой.

В этот час Женя была еще не в белом халате, а в цветастом ситцевом халатике. Севе она не удивилась и не смутилась, только быстренько застегнула верхнюю пуговицу халатика, поправила волосы. «Отличная девчонка! Фигурка, характер золотой»,— привычно подумал Сева и цокнул языком. А заговорил о взносах, поручениях, о начале политучебы. Женя отвечала ему все, что знала, и не переставала чистить картошку.

— Вчера к вам пополнение прибыло. Два шикарных молодых человека. Инженеры! Процент комсомольцев с высшим образованием у тебя сразу подпрыгнет. Один, между прочим, красавец и холостой,— закончил Сева инструктаж, подмигивая.

Женя сдержанно улыбнулась, непроизвольно повела крутым плечом. Весть о новых инженерах ее заинтересовала. Сразу стало понятно, кто был вечером в квартире Гайкина. Но показывать все это Севе было ни к чему. Она глянула на него так, будто вовсе не поверила ему. С Севой можно было без официальных, потому что он сам ни с того ни с сего становился мальчишкой и дурачился, азартно и вольно, словно Женя приходилась ему младшей сестрой. Вот и сейчас она заметила, что Севу начинает подмывать. Что он сегодня выкипет?

— А ты думаешь, я завтракал? — загадочно спросил Сева.

— Я ничего не думаю,— Женя улыбнулась, на мгновение задержала на нем свои большие карие глаза. Сева всплеснул руками, зажмурился под этим взглядом. То ли он прикидывался ради веселья, то ли и в самом деле Женины глаза словно магниты притягивали его.

И руки, по локоток обнаженные, такие же красивые, чистые-чистые, белые, полченькие...

— Подожди минут десять, картошка поджарится,— сказала Женя посуше. Ей опять показалось, что на лице Севы слишком много то ли озорства, то ли чего другого — потемнее, поопаснее. Парня нора было попридержать на дистанции, не подпускать ближе, хоть он и начальство.

— Давай помогу!— Севу будто пружины подбросили с низкого диванчика.

— Да видишь же! Всего одна картофелина осталась!— Женя отступила на шаг, показывая картофелину и выставив перед собой ладошки. Точно так же она выставила ладони и тогда, когда подходила к больным. И были

на этих руках аккуратные пальчики, длинные и чуткие, словно вторые глаза.

— А я ее отниму! Последнюю! — тихо крикнул Сева, кидаясь вперед. Женя отбивалась, но он уже обхватил ее сильными руками за талию и приподнял от пола. Оба они приглушенно хохотали. Женя колотила его по тугим плечам своими кулачками. Сева наконец поставил ее на пол, перевел дух и преувеличенно осторожно принялся укладывать ее растрепавшиеся локоны, притрагиваясь к ним двумя пальцами. На лице его было такое комическое выражение, что Женя, решившая обидеться на него и уже успевшая надуться, не удержалась и прыснула. Захохотал и Сева. Но он уже отступал, потому что Женя схватила угольный совок и замахнулась с самым решительным видом. Она еще успела ударить его между лопаток (не совком, а кулаком, и то не всей силы: нельзя же было всерьез обижаться на этого парня), когда он с притворным ужасом бросился к дверям.

...Иван Иванович сидел на крыльце и не замечал, что времени прошло уже многовато. Ему нравилось неяркое и невысокое солнце, прикрытое серой дымкой, правилась обильная августовская роса, которая, он знал, не высохнет до полудня и которую так ценят его земляки-льноводы. Иван Иванович почти зримо представил, как теплая эта роса, обладающая каким-то особым чудодейственным химическим составом, расщепляет золотую соломку разостланного льна, отделяя от серого пробкового луба серебристые нити волокон, похожих по цвету на волосы его жены, оставленной им в большом, родном для нее городе.

Сева появился на крыльце с улыбкой и зажмуренными глазами и чуть не сконфузился. Он еще изредка ахал и крикал по пути к автобусной остановке, словно проглотил стручок перца или рюмку крепчайшего напитка, одергивал пиджак и поправлял галстук. Долго не мог в это утро настроиться Сева на разговор с маленьким инженером, а молчать считал неудобным: ему давно внушили, да он и сам так думал, что комсомольский работник должен быть всегда жизнерадостным и общительным, уметь быстро сходиться с новыми людьми. Сева так и привыкал себя вести, замечая, что это очень помогает его инструкторской работе. Но сегодня получалось не сразу. Вернее, вообще не получалось. Хорошо, что этот инженерик, похоже, вовсе не нуждается в том, чтобы его развлекали...

Перед обедом Гайкин и Чистяков вели первую деловую беседу в служебной обстановке. Валерий уже обошел певеликое хозяйство мастерских, а теперь, прохаживаясь по тесному кабинету Гайкина, увешанному графиками ремонта и уставленному шкафами с бумагами, говорил, стараясь казаться кратким, точным и умным. Гайкин слушал. Наконец Валерий остановился перед его столом, широко расставив ноги, плеснул из графина на носовой платок и тщательно вытер им руки.

— С впечатлениями закончим. Теперь вопрос. Как вы тут живете?— тоном инспектирующего лица и брезгливо сморщившись, спросил он.

— Живем,— со вздохом сказал Гайкин, стараясь не придавать значения противным ноткам в голосе Валерия.

— Да,— вздохнул и Валерий. Он помолчал, выбрал стул почище, сел, пристально вглядываясь в лицо начальника.

— Ну ладно,— сказал он, словно отгоняя от себя какие-то невеселые мысли и смиряясь с обстановкой.— Ладно. Что есть — то и есть. Я хочу сразу определить свое положение, высказать свое кредо,— медленно и серьезно проговорил он. И уже совсем было собрался произнести речь, но неуверенность в поведении Гайкина остановила его. И прежде чем высказаться самому, он решил, воспользовавшись мягкотелостью начальника, вытянуть из него побольше, полнее уточнить обстановку.

— А что вы здесь считаете главным?— настойчиво пошел он в атаку на Гайкина.

— Выполнять план,— ответил Гайкин бесцветным голосом. Он отвернулся к окну. Вести такие философические беседы для него было трудно и неприятно.

— И только?— усмехнулся Валерий, презрительно щурясь.

— А чего еще? Свое дело делать. С пародом ладить. В итоге — план выполнять... Мечтать о чем-то еще здесь не приходится. Да и незачем.— Гайкин говорил правду и слышал, что его разбирает злость и что эта злость вот-вот прорвется. Он боялся этого непривычного для себя злобного состояния.

— Все ясно,— заключил Валерий.— Тогда вот мое кредо. Я буду совершенно дисциплинированным и добро-

совестным работником. Желая, чтобы отношения наши строились на полном доверии и уважении личности, как между людьми интеллигентными. Здесь я долго задерживаться не намерен. Крутец, как выяснилось, не предмет моей мечты. Он будет лишь первой, к сожалению, необходимой ступенькой в моей трудовой биографии. Но работать считаю пугливым и буду — честно, до последней минуты моего здесь пребывания. Надеюсь, мы станем друзьями и тебе не в чем меня будет упрекнуть.

— Пожалуйста, ради бога, — сказал Гайкин. Ему было уже легче. Он забыл о своей злости, слушая эту странную исповедь, по его мнению, ненужную. Осталась лишь неловкость. Он не знал, как еще реагировать на высказывания Валерия.

— Я досконально изучу здесь все, — повышая голос до торжественности, продолжал Чистяков. — Я не сделаю попытки уйти отсюда, пока не почувствую, что мне здесь все ясно, что взять здесь уже нечего, что мне здесь становится тесно и тесно.

Гайкин настороженно слушал. Якобы Валерия неприятными уколами отзывалось у него в груди.

— Я люблю и немного знаю технику, — продолжал Валерий. — Мне уготовано судьбой специализироваться пока по сельхозмашинам. Ну что ж? Пока и это неплохо. Сельское хозяйство — это все же нива... Я буду служить ей. Но надо, чтобы служба не только кормила, но и растила человека, обогащала не одними деньгами, а и знаниями, опытом, толкала вперед. Я добросовестно учился. Диплом у меня отличный. Теперь я хочу и должен безусловно работать и жить.

— Превосходно, — сказал Гайкин, смущенный такой речью. — Мне нравятся твои планы.

И еще хотелось сказать Гайкину, что замыслы-то у Валерия высокие, но зачем же столько слов. И не сказал Гайкин, простил Валерию, подумал, что волнуется парень в такой ответственный момент, хочет высказаться, убедить себя и других в чем-то хорошем. Поэтому сказал Гайкин другое.

— Мне нравится твоя энергия, — бодрее и поощрительно улыбаясь, сказал он. — Ты и меня расшевелишь. Мне бы не мешало немножко встряхнуться, на себя со стороны почаще глядеть, а то уж что-то слишком лениво, неоригинально голова стала работать.

— Встряска любому человеку пужна. И регулярно, — поддержал его Валерий убежденно.

Но Гайкин уже спохватился, упрекнул себя в лишней откровенности и заговорил посуше:

— В общем, кредо я принимаю... И жить надо дружно. Но друзья мы — после службы или один на один. При людях и особенно в мастерских прошу называть меня на «вы» и говорить только о работе. Ну, хотя бы пока. Дальше жизнь покажет.

— Обязательно! — уверил Валерий и поднялся, сделавшись вовсе официальным. — Разрешите мне получить спецодежду и приступить к делу.

Гайкин растолковал ему все, что было надо на первый случай, даже в окно кое-что пробовал показать и задумался, когда Валерий ушел.

«Если отбросить фразерство, простительное в его возрасте и при отсутствии у него опыта, то что-то сильное в этом парне есть. Наверное, такие фанатики и пробивают себе дорогу к высотам технической мысли, а не такие растяпы, как я», — решил он не очень-то весело. Но как только он сравнил Чистякова с собой, в нем родилась неприязнь и недоверие к этому молодому человеку, которому все ясно с самого начала. Насторожился Гайкин, и дверца перед его сердцем захлопнулась накрепко. Он отметил, что и с этим инженером не получались у него те полусерьезные, полусерьезные приемы вести разговор. И тут перед ним что-то совершенно незнакомое. И неудобно стало Гайкину в давно подведомственных ему мастерских.

И все же он решил, что поселит Чистякова в своей квартире. Так он быстрее раскусит его. Не очень-то верил многоопытный Гайкин разным заявлениям и обещаниям, больше полагался на факты и практические шаги. Но тут было кредо, то есть не удобная к моменту болтовня, а что-то более осповательное, выношенное, может быть, годами. Тут можно было чему-то и научиться или, на худой конец, узнать нечто новое, возможно, и небесполезное. Хотя...

«На всякий случай варежку не разевай, уважаемый заведующий мастерскими товарищ Гайкин, — сказал он себе наставительно. — Хоть тут и кредо, и не твое, а отвечать за него и за Чистякова в целом придется тебе».

...Занавески в единственном окне медпунктовской бок-овушки раздвигались не рано. Спешить Жене было некуда: прием больных — с десяти утра, а приходили они не каждый день. Оттого Женья позволяла себе поваляться, понежиться в постели, подумать, чем занять день. Вообще-то дел можно было придумать много. Она же и медик, и комсомольский секретарь. Только не чувствовалось, что пуждается крутецкая молодежь в Жениной опеке и руководстве. И всего-то комсомольцев — восемь человек: парни из мастерских, отслужившие в армии и женатые на здешних же комсомолках, собрания их уж не очень и интересуют, приходят на них не с первого приглашения. А подрастающие школьники жили в дальнем интернате. Собрания, правда, проходили каждый месяц, как требовал устав и Сева. Но явку на них обеспечивали Гайкин и Сева. Они и с докладами выступали, а Женья вела протоколы да собирала в день полочки взносы. Все считали, что это, пожалуй, и нормально.

Вот и вчера собирала Женья взносы, сидела у кассы с ведомостью. И все бы шло своим чередом, она уже и закончила свое дело, когда привязался к ней этот новельский Чистяков. Подошел, уставился немигающими красивыми глазами и сразу с расспросами: когда будет собрание, какие работают кружки и секции, интересуется ли Женья его мнение о здешнем клубе и вообще его местные наблюдения...

— Приедет Сева — все можно обговорить, — ответила Женья, немножко тушуясь перед напористым красавцем.

— А почему нельзя без Севы? — нехорошо как-то, вроде с издевочкой спросил Чистяков и снова принялся в упор рассматривать ее, явно довольный тем, что она перед ним именно тушует. Ну что могла ответить Женья такому наглецу? Не пускаться же с ним, вовсе незнакомым, в рассуждения да споры о том, что и как должно быть. А Чистяков ждал ответа, демонстративно ждал, но недолго. Отошел, покачивая головой, с достоинством этаким, словно удивлялся: ну, мол, и ну.

«Если судить по большому счету, то в основном правильно он вопросы ставит, — подумала Женья. — Надо бы и без Севы что-то делать». Весь вчерашний вечер не шел у нее из головы этот Валерий. И живет-то он в Крутце

всего неделю, и у Гайкина он только заместитель, а так и лезет вон из кожи, чтобы показать, что он тут самый главный, умный и образованный. Так думала Женя. Примерно то же слышала она и от других. Теперь он и в комсомольские дела нос сунул. И надо же, поговорила она с ним всего пару минут, а задел он за ее душу, испортил настроение. Оттого и уснуть она не могла долго вчерашним вечером, и утром встала с тем же неприятным осадком, словно всю ночь преследовали ее кошмары.

Оглядела Женя свою боковушку. Чистой и уютной казалась она ей всегда. А теперь углы сделались темными, пугающими. Бедно и постыло все тут до отвращения. И некуда спрятаться от этих темных углов и белых стен, как ни закрывайся одеялом.

Она рывком отбросила одеяло, босая подошла к окну, отодвинула белую казенную занавеску. Ничего радующего не было и на улице: серое сентябрьское утро, промозглое, после холодного дождя. С деревьев обреченно падали последние листья, бурые, загнивающие... Женя уперлась голыми локтями в подоконник, зажмурилась, чтобы не видеть эти умирающие листья. Вспомнила — сегодня вечером в клубе бал... тоже мне бал! — и название громче не придумаешь — «осенние листья». Какая уж красота в этих листьях!

Женя когда-то любила такие немножечко необычные танцы с букетиками кленовых листьев. А теперь думала о них без всякой радости. Все вянет. Все светлое прошло, как проходит молодость. Как она дальше-то будет здесь жить?

Она же теперь совсем одна. Предательницей оказалась Ленка. Не приехала она из отпуска, не явилась в школу к началу учебного года. Открытку прислала: «Прости... ведь хочется жить... может, счастье...» Вместо нее приехала временная учительница, сердитая и неразговорчивая, которая каждый выходной отправлялась в райцентр. Осиротела Женя. И все еще не собралась ответить Ленке. Да и что ей писать? Ругать? Завидовать? И на то и на другое не поднималась у Жени рука... А за окном развозил по улицам грязь дождливый сентябрь.

— Доброе утро! — громко и, кажется, пасмешливо крикнули на улице. Женя вздрогнула, прикрыла ладонями грудь и лишь мгновением позже догадалась задержать занавеску.

— Тысяча извинений! — донесся до нее тот же голос. Женя отпрыгнула за косяк, успев все же заметить, что под окном был Чистяков. Напугал он ее и расстроил еще больше. Улыбочка у него этакая ироническая, пахальная, походочка с подрагиванием в коленках, как у старого ревматика. У глупых городских юнцов такая походочка считается модной, независимой, что ли...

— Наглец! — негромко ругнулась Женя, переполняясь злостью. — Идет на работу, так и думал бы о деле, а он в чужие окна глаза бесстыжие пялит.

А вскоре ей подумалось, что Чистяков, может быть, вовсе не пахал. Просто случайно увидел ее и поприветствовал. А она-то дуреха сама виновата: выставилась, распустила юпи не ко времени. А он извинился. Не от каждого здесь извинение услышишь... Медвунктовская уборщица, не очень-то обремененная служебными обязанностями и знавшая все поселковые новости, не раз уже расписывала Жене нового инженера. И присушил-то он уже всех крутецких девчонок — только о нем и шепчутся. И гордый-то он, что очень идет образованным мужчинам, сразу видно, что не шалопай. И из себя-то он ладный, культурный. Парни, глядя на него, за собой стали следить получше и задумываться о своем поведении. И еще удивительно, что не курит и ни разу вина в магазине не брал. Такого парня в Крутце не бывало и не будет, уверяла уборщица и подмигивала по-бабьи, необидно. А потом еще и такое сказала:

— Я бы такого сама к себе привела на твоём месте. У тебя, благо, и привести есть куда. Чего так-то сохнуть? Брать надо радость-то, а не глядеть, как она проходит.

Женя слушала и не очень-то отмахивалась. Почему и не послушать? Но думала по-своему. Не семнадцать ей лет, чтобы всего стесняться и всему верить...

И все же Чистяков ее интересовал. Думая о нем, она волновалась... До вчерашнего разговора, конечно. До этого разговора загадывала даже тайком: вдруг да судьба... Вот и пришло вдруг, только не такое... Может, он и хороший человек. А может — просто нагленький, самоуверенный и набалованный красавчик: в парнях это — гаже всего.

Сердилась Женя, упрекала себя и не заметила, как злость победила тоску. А тут постучался первый больной. И все забылось на время...

Вечером она встретила Чистякова в клубе. Идти на бал Жене было надо — что за бал без вожака молодежи. К тому же думалось, а вдруг на танцах будет что-нибудь интересное...

Как она и ожидала, в клубе были развешаны гирлянды: густо напизанные на нитки листья, сохранившие слабые запахи ушедшего лета. Листья на стенах, под потолком и просто разбросанные по полу, тихо шелестели. Было даже немножко красиво, вспоминались чистые перелески, окружавшие Крутец...

Но скоро на всю мощь взревела радиолка. В фойе закружились две пары. Первыми пришли молодожены: шофер с кассиршей из мастерских, а за ними — две девчонки: продавщица и еще кассирша, со станции. Можно было надеяться, что придет еще кто-нибудь, а можно было и не надеяться. Поженившись, крутецкая молодежь отвыкала от танцев и от всяких других мероприятий на удивление быстро.

Пришел Валерий. Его отутюженный до хруста костюм и в меру широкий галстук, пожалуй, чрезмерно подчеркивали стройность фигуры. В начищенные ботинки можно было глядеться, как в зеркало.

— М-да, — разочарованно произнес он, оглядев убранство клуба и поразившись малолюдью. Кивнул, как старой знакомой, Жене и застыл в позе магазинного манекена, не то удивленно, не то горько собрав морщинами лоб. Он явно ожидал большего. Но и уходить ни с чем не хотелось: жаль было времени и труда, затраченных на подготовку к этому балу.

Женя старалась быть спокойной. Но это давалось нелегко. Вспомнилось утро, и посуровел ее взгляд. Валерий, видимо, понял ее, подошел.

— Извините.

Глаза поднял не сразу. А подняв, сказал рассудительно, без тени смущения или вины.

— Я думаю, нам ничего не остается, как потанцевать, если не возражаете. Разрешите?

Танцевать с ним было легко. Валерий знал это и старался изо всех сил. А Женя умела кружиться в вальсе только в одну сторону и боялась, что Валерий это заметит. Но он принялся размашисто кружить ее и влево и

вправо — и у Жени неожиданно все получалось. И ничего ее кавалер не заметил. Она обрадованно вздохнула, благодарно улыбнулась Валерию и полностью доверилась его рукам, уверенно и мягко увлекающим ее за собой.

Он не отпускал ее весь вечер. Да и не было тут других свободных дам. Девчонки дичились и хотели танцевать только друг с другом. Женья с тайным удовольствием замечала, как они бросают на Валерия и на нее быстрые оценивающие взгляды. Ей было радостно оттого, что сегодня танцевалось так хорошо, как не танцевалось никогда. И все потому, наверное, что рядом Валерий. На душе становилось светлее. Только не так, как бывало с Севой, когда тот дурачился, а взволнованнее, с чуточкой страха и надежды.

Женья не видела, как исчезли молчаливые молодожены, которые весь вечер так и не разомкнули своих рук и лишь изредка шептали что-то друг другу с застывшими улыбками... Но заметила, как припиались притворно зевать две девчонки и делать вид, что им уже надоело. За дверь девчата тоже попытались юркнуть незаметно, не забыв, однако, еще раз завистливо глянуть на разошедшегося в танце Валерия и на разругавшуюся Женю. Дверь за ними закрылась без стука, но Женья тотчас остановилась.

— Мне нора, — сказала она, медленно отстраняясь от Валерия, хотя на самом деле ей было безразлично, придет ли она домой через десять минут или через час.

— Пожалуй, — согласился Валерий, помедлив для приличия несколько секунд. И добавил полупебрежно, но поощрительно: — А вы неплохо танцуете... то, что здесь принято танцевать. Мне было приятно. Благодарю. — И церемонно поклонился.

Он провожал ее до медпункта. Женья шла молча, волновалась и ждала... Должен же был что-то говорить ее кавалер, тем более такой респектабельный и самоуверенный, как Чистяков, еще так недавно паставивший, чтобы его мнение было выслушано. Должен же он, городской и образованный, как-то и поухаживать за ней. Ведь никто не видит, не мешает... Она ждала и успела придумать пару предупредительных фраз на тот случай, если кавалер осмелится на скоропалительные нежные слова и похожие на них действия. Она даже ладошки готова была выставить вперед, если... Но Чистяков не подавал никаких признаков ни решительности, ни внимания. Только уже возле

самого медпунктского крылечка он вроде спохватился. Поймал ее руку, слегка пожал и стал... прощаться. Произнес скучное спасибо, пожелал спокойной ночи. И пошагал прочь. Ровными и четкими шагами пошел, как ходят люди, довольные собой и совесть которых ничем не отягощена.

Женя вбежала в свой домик и заперла двери на все запоры. Постояла в темном коридорчике, прислушиваясь. Ни звука. Она и в боковушке свет не включила, в темноте было лучше. Новую кофточку не сняла, а сдернула рывком, швырнула в угол. Туфли — тоже.

Она не понимала, что с ней творилось. Пожалуй, была обида. И на кого? Ни в чем нельзя было упрекнуть Чистякова. Для первой встречи он вел себя, может быть, идеально. Не притавал... Но Женя чувствовала себя почти оскорбленной и обманутой. Ей даже казалось, что он презирает ее. В чем же она промахнулась? Вроде ни в чем. Неужели она вообще дура и пескладеха? Но и то, что он презирает ее, доказать было нечем. Хотя мог же он поговорить с нею по дороге хотя бы из вежливости. Они же оба — недавние студенты. Так много общего! И вот...

«Он, наверное, очень сильный — этот выдержанный красавец Чистяков», — в смятении думала Женя. Но тут же шли и другие мысли: — А может быть, что он очень недобрый. Или просто дурак, воображала... Я-то чуть не размечталась. Подальше от него надо держаться. Кто знает, что он выкинет завтра, если подойдет... А он подойдет. Может, он уже выбрал ее себе в жертву. Будет мучить...»

С горечью и страхом думала Женя.

— Я не знаю, как мне вести себя с ним. Я боюсь его, — шептала она, зачем-то проверяя еще раз засовы и крючки на дверях.

Она могла бы и не запереть двери. Крутец уже спал. Чистяков подходил к дому Гайкина и думал не о ней, а о себе.

6

Валерий вошел в дом и застал Гайкина за таким занятием, что Кирилл Кириллыч покраснел. В трусах и носках, но в белой праздничной рубашке, Гайкин примерял галстуки Валерия, прикладывая к воротнику то один, то другой. Он хотел было тотчас спрятать галстуки и хлоп-

нуть дверцу шифоньера с зеркалом на внутренней стороне, но смешался.

Валерий оказался великодушным.

— Тебе подойдет вот этот и этот, со средним узлом. Они не очень броски, в меру строгие, хорошо будут гармонировать с твоим озабоченным взглядом и впалыми щеками, — почти без насмешки, тоном друга-покровителя заговорил он. — Носи их. Будешь чуточку импозантнее, уважать станут больше.

— Да я так, от скуки... Попались на глаза перед сном, — оправдывался Гайкин, довольный советами Валерия. С приездом этого опрятного парня Гайкину стало казаться, что надо получше следить за собой, чтобы не бросалась людям в глаза невыгодная для него разница в экипировке начальника и заместителя.

— В облике руководителя нет мелочей, — назидательно, но с заметной скукой продолжал разглагольствовать Валерий, раздеваясь возле своей койки. — Надо, чтобы и майка плотно облегалась его грудь и чтобы грудь, руки, ноги были мускулистые, живот чтобы не казался помятой подушкой. Все это весьма влияет на настроение, а значит, и на производительность труда подчиненных.

Валерий говорил и любовался своим суховатым торсом, похлопывая по рельефным мышцам.

— У меня живота не будет, — сказал Гайкин. — Такой уж я породы.

— А мышцы дряблые, — не отставал Валерий. — И по этой причине маловато в тебе внутренней цельности, уверенности. Дряблость тела тире дряблость духа. Ты уж и к девочке красивой робеешь подойти.

— А ты не робеешь?

— Я не робею. Сегодня часа три подряд танцевал. С самой красивой из здешних.

— Понравилась? — Гайкин спросил с плохо скрытым нетерпением и почти раздраженно.

— Да, — спокойно ответил Валерий. И зевнул погромче, чтобы показать, как мало все это его интересует.

— Поухаживай. Женись, — теперь уже подавляя неприязнь, проговорил Гайкин. Его злило, что Чистяков выделил из здешних девочек именно Женю, хотя сам о ней старался не думать. Вернее, он думал о ней, но редко и неопределенно. Он и она чуть было не стали близкими друзьями. Но не стали. Что-то не по душе было ему

в ней. Или побаивался он ее? Он считал ее очень сильной. С ней было бы сложно. И еще не нравилось ему, что и она грустит. А что за жизнь будет у двух грустящих? Не мог он представить, как бы они жили вместе. Одному было привычнее и проще. Одному — все ясно. И он почти убедил себя, что равнодушен к ней, избегал встреч, старался не думать. Но сейчас ему показалось, что Валерий накладывает руку на что-то давно принадлежащее ему, Гайкину, и что Валерий со своим кредо и зазнайством принесет Жене одни неприятности, если не горькое горе. Это его злило.

— На ней тебе надо жениться. Вы, похоже, созданы друг для друга и для Крутца. Стали бы примерной во всех отношениях парой подвижников, — рассуждал Валерий, словно разгадал что-то в Гайкине.

— Ну ладно, спим, — коротко бросил Гайкин. — Мне завтра до свету вставать. К начальству на три дня вызывают.

— Скажи хоть там, что нужна нашим мастерским специализация. На худой копец, узловой метод ремонта, обменный фонд, — легко переключился Валерий на производственную тему, втайне радуясь, что разозлил Гайкина.

— Не будь сразу всех умнее, — сказал Гайкин. — Слышали мы обо всем этом. И ясно представляем. Но тебе пора бы понять, что условия и заказчики у нас такие, что мы просто вынуждены не специализироваться, а даже увеличивать число услуг. От нашей специализации колхозы только пострадали бы. А мы не для себя, не для подхватывания разных идей существуем, а для колхозов.

— Ветхозаветно, — твердил свое Чистяков. — И убого. Как все тут. И круг мыслей у вас такой же.

— Внеси в мысли свежую струю. Может, ты еще о чем-нибудь умеешь толковать, кроме специализации.

— Не во вред плану, — передразнил Гайкина Валерий.

— Спим, — сказал Гайкин.

— Последний вопрос как инженеру, — примирительно проговорил Валерий. — Тебе никогда не хотелось что-нибудь изобрести? Скажем, двигатель, более простой, чем сегодняшние реактивные или внутреннего сгорания, но не менее эффективный?

— Нет, — сказал Гайкин.

— Могила, — подытожил Чистяков и умолк.

Гайкин ворочался, его пружинная койка стопала, а он не слышал, иначе лежал бы не двигаясь из застенчивости и воспитанности. «Замучит меня этот жилец и заместитель... Все ему неладно... А мы всегда шли с перевыполнением плана и с премией... Впереди шли. Никто не ругал. Что ему-то надо?.. И с галстуками застал меня, как мальчишку-ворпшку. Тьфу!» — злился в темноте Гайкин и втайне завидовал боевитому характеру Валерия, его стремлению к повому.

А Валерий лежал, закинув руки за голову, и перебирал в памяти дни, прожитые в Крутце. Верно ли он себя вел, не допустил ли где сбоя? Пожалуй, кое-что уже мог бы и испортить. Теперь ясно, что переборщил он в первый же день со своим кредо, с напыщенными высказываниями, клятвами... Хорошо, что об этом никто не знает, кроме Гайкина, а Гайкин среагировал так, что лучше не надо: то ли просто забыл, то ли поднапугался конкурента... Однако дальше надо быть умнее...

Еще подумал, что поспешил, паверное, с запросом в райисполком о своем жилье. Конечно, молодому специалисту, да еще в сельской местности, жилье вынь да положь. Но не посчитают ли его в районе чересчур требовательным, капризным, а то и просто жалобщиком, которому все дай? Кто их знает, здешних районных начальников?

Зато остальным он был доволен. Сразу доказал всем, что воспитан и непыющ. На улице ему уступают дорогу. О нем говорят. А молва разлетается ой как быстро! Ясно, что о его примерном поведении знают уже в районных организациях. А это много значит, когда молодой специалист попадет на заметку с хорошей стороны. Это значит, что одна его нога уже на первой ступеньке здешней служебной лесенки.

Но чтобы пойти по этой лесенке, одного хорошего поведения мало. Надо еще показать, что умеешь работать, надо сделать что-то действительно интересное и полезное. В такой глуши все сразу будет замечено, хотя сопротивляется эта глушь всему новому со слепым упорством, как лес ветру.

«Начну с агрегатного метода. Пробью это — сам себя уважать стану», — решил он.

Ну и на общественной стезе хорошо бы себя проявить. Тогда в отделе кадров извлекут его личное дело, хлопнут по нему начальственной рукой и скажут решительно и торжественно: «Выдвигаем!»

Валерий живо вообразил этот момент и свою радость, вытянутую физиономию Гайкина... и улыбнулся длинной улыбкой. Он перевернулся на бок, руки его скользнули под одеяло и успокоились в тепле. Задремывалось сладко. Затухали производственные и иные заботы. Мысли поплыли к другому...

Он еще раз длинно улыбнулся, вспомнив Ивана Ивановича и его жену. Многих ребят завлекла эта институтская библиотечарша. Иные в очередь становились не за книгами, а лишь бы поглядеть, как порхают ее кудряшки, ресницы, руки, юбочка... Валерий-то провожал ее не раз.

Удавалось это и другим счастливицам, но только не Ивану Ивановичу. Он не мог поднять на нее глаз, краснел до пота. Он любил ее молча, о чем она, конечно, знала. Как они поженились — тайна. Из библиотеки она тогда уже уволилась, но перед институтскими окнами мелькала. Блеск была девочка.

Но Валерий не женился бы на ней. Он знает, что в руках ее не удержишь. А ему необходима жена — собственность и продолжение его личных превосходных качеств, вернее, дополнение к ним, потому что с ним, красивым и деловым инженером, должна быть рядом скромнейшая красавица, которая всю жизнь знала бы только его глаза, его губы и руки, выполняла бы его волю смиренно и с удовольствием.

Тут Валерий подумал, что хорошо бы закрутить на время любовь со здешней соблазнительной медичкой, но тут же и ругнул себя за это. А через минуту похвалил за то, что вел он себя сегодня отменно, даже превосходно вел, потому что черт знает чем могли бы обернуться каждое его слово, движение руки, шутка или вольный треп с ней. Он знает лишь свою цель: вести себя и работать безупречно, потому что честь падо беречь смолоду и настойчиво добиваться своего места под солнцем. Он образован, умеи, красив, знает дело, перед ним перспективы, которые трудно даже представить. Все зависит от него. И оттого он выше и лучше всех здешних аборигенов вместе взятых, существующих без цели и порыва, как трава. Они — тупая

толпа, исполнители, а он — над ними, он руководит и будет получать достойные его таланта блага.

От столь приятной мысли Валерий зажмурился и... уснул.

8

Гайкин пробыл в райцентре три дня и своего добился. Ему сказали, что выделены деньги на строительство дома в Крутце и к делу надо приступать немедленно.

Возвращался Гайкин в преотличном настроении и еще больше засиял, застав в своей квартире Севу.

Но сегодня на жизнерадостном инструкторе не было лица. Он порывисто бегал из угла в угол, натыкался на стулья и ломал дорогие сигареты.

— Здорово! — закричал Гайкин. — Все ездешь? Правильно. Движение — есть жизнь. А под лежащий камень...

— Мало ты движешься, хоть в пяньки к тебе садись... Чуть отошел, и пошли куролесить... хуже детей, — сбивчиво заговорил Сева и тотчас умерил веселье друга.

— Да что стряслось-то? — Гайкин наконец разглядел расстроенное Севино лицо.

— Ты что, серьезно не знаешь, что у вас было комсомольское собрание? Что секретаря переизбрали? — закричал Сева.

— Не знаю, — Гайкин сел и уставился на него. — А что с Женей? Ведь ты собрание проводил... Кого избрали?

— Если бы я проводил! — Сева, схватившись за голову, снова метнулся по комнате. — Никто его не проводил. Анархия у тебя!

Радужное настроение Гайкина как рукой сняло. Теперь и у него в глазах появилась растерянность. И чем порывистее метался Сева, тем сильнее волновался и тосковал Гайкин.

— Слушай по порядку, — привялся наконец рассказывать Сева. — Кто-то вывесил в мастерских объявление. Люди собрались. Надо бы выяснить, чьих рук дело — это объявление: его Чистяков снял и в карман закинул, когда люди собрались. Ни меня ни тебя нет. Женя тоже ничего не знает, сидит в своем медпункте. Послали за ней, пришла, а что сказать — не знает, ей это тоже как снег на голову. Вот тут и поднялся этот самый Валерий. И так заговорил, что все рты разинули. Скучно, мол, здесь

и серо. Знаю, подобные речи нравятся некоторым. И чем дальше — тем хлеще. Про клуб, про формализм в нашей работе. Меня раскритиковал за глаза, а что я плохого сделал хоть ему, хоть другим? И почему в глаза не сказать, если что... Конечно, есть недостатки, никто не спорит. Но так-то — нельзя! Так собрания не проводят. В общем, этот Чистяков подвел дело к тому, что надо менять руководство здешней организации. Ловко подошел к теме. Видимо, бывалый демагог. Или прирожденный. Такие тоже бывают. А кто-то в зале возьми и крикни: становись, мол, тогда сам секретарем, ты самый грамотный, самый понимающий. А ему это и надо было. Если доверите, говорит, то возьмусь. Тут Женя сторяча вопрос на голосовании ставит. И что ты думаешь? Проголосовали за него. Так он, Чистяков-то, сразу Женю со сцены попросил сойти и новую речь толкнул. Про массовую рационализацию, про тащкружок, про учебу, еще про что-то. И заявил, что сам берется всем этим руководить. Вот самозванец!

Сева задыхался от негодования и бессилия перед свершившимся фактом.

— А может, и нет тут большой беды? Пусть потрудится. Есть у него всякие такие идеи, — сказал Гайкин, стараясь успокоить Севу. Но на душе у него было гадко. «Удружил постоялец и первый заместитель!» — сердито подумал он, ужасаясь тому, что будут говорить об этой истории в районных верхах и как он сам будет выглядеть в глазах начальства. Хорошо еще, что в Крутке его в момент собрания не было...

— Работать с людьми — это его долг как специалиста, — сказал Сева. — Он и должен передавать ребятам свои знания. И все было бы правильно, если бы мы утвердили его руководителем кружков. Но и не это главное. Беда в том, что никому не известно — комсомолец он или нет. На учет-то к нам он не вставал! Я как раз и захотел сюда сегодня, чтобы выяснить это. И вот — пожалуйста... Будет мне вливание.

— Вот это да-а! — ошарашенно проговорил Гайкин, осознав всю серьезность происшедшего. — Совсем будет некрасиво, если...

Он не договорил фразы, пугаясь тех слов, которые застряли в горле. И принялся лихорадочно искать выход.

— Так давай спросим у него! Сейчас же!

— Зови,— мрачно согласился Сева.— Я тут кое с кем из ребят переговорил... Рассказали... Женя обиделась. Рада, говорит, что от обузы освободилась, а сама губы кусает. Что ей? У железной дороги живет. Ей недолго и уехать от таких деятелей...

Искать Чистякова не пришлось. Он заявился сам, напевая, и, по всему видно, довольный собой. Понимающая улыбка кривила его губы, пока Сева подыскивал слова, чтобы начать трудный разговор. Начал его сам Валерий.

— Все в соответствии с уставом,— убежденно сказал оп.— Работу здесь надо оживлять. И есть возможности.

— А вам не кажется, что вы поспешили? — вспыхнул Сева. Но быстренько перестроился и спросил: — Где ваша учетная карточка и комсомольский билет?

— Билет? Пожалуйста. Всегда при себе. — Валерий протянул Севе книжечку. Сева долго листал ее.

— Задолжник по взносам — раз. На учет не встали — два. Как это понимать?

— Забыл за делами,— как о пустяке, сказал Валерий.— Но это же формальная сторона. Сам понимаете. А требуется живое дело. И мне за него братья... По воле собрания.

— Приедете завтра в райком. Будете объясняться с секретарями,— сухо закончил беседу Сева.

— Хорошо,— с подчеркнутой исполнительностью ответил Валерий. Он переоделся и с пошвыстыванием двинулся к выходу. С порога заявил. — В райком приеду с новым планом работы организации.

Дверь за ним хлопнула негромко, но Севе и Гайкину в этом хлопке послышались и упрек, и насмешка.

— Силен,— невесело проговорил Гайкин.— По работе к нему больших претензий нет. Старается. Ведет себя выдержанно. И сейчас он говорил все, кажется, правильно. И на собрании, наверное, тоже. А ведь есть в нем что-то недоброе. Верно?

— Я не верю в таких,— сказал Сева. — Он от скуки ищет себе развлечение. И запястья решил не каким-нибудь пустым хобби, а полезным для карьеры делом. Это точно. Жесты его внешне благородны, но неискренни. Ему и комсомол быстро надоест. Он вообще долго здесь не продержится. Видывал я таких.

— Не спеши,— слабо возразил Гайкин.— Технику он знает и, кажется, любит. Может, и пригнется.

— Увидим. И скоро, — стоял на своем Сева. — А нагоняй мне обеспечен... Но не он страшен, а то, что совершилась здесь ошибка. Большая ошибка. Просмотрели мы. Чистяков сейчас в героях, собой любит, популярность завоевывает. А расхлебывать придется нам.

Гайкин умоляюще глядел на Севу, словно просил, чтобы не говорил он таких жестких, тревожащих слов. Но Сева продолжал свое. И тогда Гайкин, чувствуя необходимость как-то оправдаться, сказал такое, чего не сказал бы никому, даже Севе, если бы рядом был еще кто-нибудь.

— У меня план. Не хватало мне еще за ваши внутрисоюзные дела отвечать! — И изобразил на лице равнодушие, хотя настороженно ждал, что скажет Сева.

— Не то ты говоришь! — взвился Сева. — Тут же твой коллектив! А в нем сейчас пеладно! Нет, не спрячешься в кустик. И тебе влетит! Да и Чистяков тебе еще зубки покажет.

— Не папикуй! — отмахнулся от него Гайкин и мрачно умолк. Сева повздыхал еще несколько минут и собрался домой. Гайкину хотелось смягчить неприятный разговор, но не приходило на ум ничего подходящего. Предчувствия новых неприятностей терзали его. И как ни уговаривал он Севу остаться почевать, обещал даже шикарный ужин и бутылочку портвейна, гость был немолчим. Сева завел райкомовский мотоцикл и на хорошей скорости рванул из Крутца к дому. В пути он сочинял честный доклад о факте переизбрания секретаря комсомольской организации в Крутце с нарушением инструкции, в котором всю вину брал на себя.

9

Миновала и забылась осень. И зима уже понстратила запасы морозной и снежной мощи. До крыш заметенный сугробами жил тихий поселок Крутец возле железной дороги. Казалось, все шло здесь старым чередом. Однако были и перемены.

Гайкин создал бригаду, которая строила новый дом. Чистяков организовал кружок рационализаторов, а в клубе под его руководством разучивались новые танцы. Крутецкую молодежь стали ставить в пример всему району. Валерий чувствовал себя все увереннее. Он наловчил

ся перешивать себе покупные костюмы и приобрел дорогую заграничную шубу, которую можно было, отстегнув подкладку и воротник, за пару минут переоборудовать в модное демисезонное пальто. Шуба была удивительно белая. Валерий гордился ею и берег ее пуще глаза.

Сева колесил по району на повенском мотоцикле и оставался тем же добрейшим человеком и инструктором. Только по дороге в Крутец хмурились его белесые брови. Но заглядывать сюда он стал реже. Встречаться с Чистяковым ему не хотелось. За крутецкую организацию можно было не беспокоиться, хотя Сева все еще ждал беды. Огорчало только, что к Жене теперь не заглянешь запросто, как прежде. Вздыхая и хмурясь, Сева проезжал мимо Крутца, нередко нарушая утвержденный в райкоме маршрут.

Реже стала выходить из своей боковушки Женья. Сидела перед зеркалом, закрывая глаза ладонями. Боялась еще раз убедиться, что совсем недавно она выглядела моложе и красивее. Женья написала районному начальству письмо, просила перевести ее в другое место. Ей ответили, что «перевод не представляется возможным ввиду...» Женья поревела над казенной бумагой и написала другое письмо, уже в область. Областное начальство с ответом не спешило, наверное, переслало ее заявление в район...

Своих больных Женья знала наперечет. Но вьюжным мартовским полднем прибежал к ней незнакомый парень, низенький, со слабым голосом, но, похоже, из тех, кто не умеет унывать.

— Вот, — показал он разбитый в кровь палец и засмеялся.

— Где получили травму? — спросила Женья, делая с пальцем пациента все, что было надо. Смеющийся при виде собственной крови парень забавлял ее.

— В ваших мастерских. Довели тут некоторые оборудование до ручки, — охотно рассказал он.

— Вы имеете в виду Гайкина? — спросила Женья.

Парень промолчал. Поморщился от боли, даже валенками потопал по полу, когда Женья залила палец йодом. И снова засмеялся.

— А чему пострадавший рад? Вам же больно, — не удержалась Женья от почти постороннего вопроса.

— Оказать? — быстро отозвался он и азартно глянул ей в глаза.

— Если не секрет, — сказала Женя, не забывая, что излишнее любопытство ей не к лицу. Она сделала вид, что спрашивает только так, для разговора, чтобы отвлечь пострадавшего от боли.

— Ко мне жена приехала! Из большого города в маленькую деревню! — выпалил парень.

Он тут же почти сконфузился, подумав, видимо, что перехватил через край со своей радостью.

— Кто вы и откуда? Мне надо все записать, — сказала Женя, не меняя сдержанно-приветливого выражения лица. Парень назвал, шутливо подчеркнув свое имя и отчество — Иван Иванович.

— Через два дня зайдете на перевязку. Палец не застужайте, — напутствовала его Женя и, оставшись одна, задумалась, загляделась по привычке в окно. Надо же, пока сидел этот колхозный инженерик в медпункте, метель успела утихнуть. И стало видно, как до самого горизонта простираются сплошные снега, такие же чистые, как стены ее медпункта, как ее халат, — белые снега, по которым едва заметно вилась оттененная синью полоска зимника, ведущего в ближайший колхоз, где поселился этот маленький инженер... Единственная дорога в бескрайних снегах.

«Он, должно быть, славный, — подумала Женя. — Не зря жена решила к нему сюда ехать, в такую глушь... Только уж очень мал он, смешной какой-то...»

Женя и раньше немного слышала о колхозном инженере. А вот и познакомиться довелось. Человек как человек. С чудинкой немного. Так ведь у каждого есть что-то свое, особенное... Сколько раз вот так же прибегали в медпункт молодые люди? Не счастье. Одни ухарски шутили даже тогда, когда им — Женя-то это знала — было чертовски больно. Другие бледнели и не могли отвести остановившихся глаз от безобидного шприца... Все благодарил ее. И относились к ней с подчеркнутым уважением. Это только городской Сева осмеливался притавать к ней с шутками и чуть не распускал руки, но и то один на один. Деревенские парни перед ней робели. Она это видела. Наверное, она казалась им таинственной и недоступной, оберегаемой чистотой и строгостью ее учреждения. Стучалось, она паходила в приемной умышленно оставленные шоколадки. И не брезговала, ела их с улыбкой, почти не пытаясь представить, кто их оставил. Находились, прав-

да, и такие умники, которые не прочь были поболтать в кругу парней, что медички, мол,— того, стесняться с ними нечего, они давно все прошли, знают, испытали и только фасон на людях держат. Доходили такие слухи до Жени. Гадко ей становилось. Но и к этому она привыкла, как перестала обращать внимания на площадную брань иного подвыпившего местного жителя. Нельзя же было обижаться на дураков и на тех, кто не имеет представления о культуре. И замыкалась в своем одиночестве.

Она почти перестала вспоминать о Ленке и думать о Гайкине, которого поначалу все прочили ей в женихи. Тоскливо и досадно было думать о нем. Тоже ушел в себя человек... Совсем не хотелось вспоминать о визитах одного инспектирующего городского медика, молодого и циничного. Это он оставил однажды на ее руках сныжки — так вцепился, пьяный и наглый, совершенно уверенный, что ему должны уступить... Еле вырвалась от него Жениа. С отвращением припоминались предложения одного артиста из заезжей труппы, хорошо завуалированные предложения, подкрашенные негдуной лестью и все же грязные... Замечала она на себе лишние взгляды иных командированных представителей... Да и что еще могла ожидать от случайно встретившихся мужчин она — красивая двадцатипятилетняя сирота, одинокая соблазнительная медичка!

И все же она надеялась. Надеялась встретить друга — достойного, искреннего, хотя и знала, что нет, пожалуй, в Крутце и во всей округе такого человека, который к тому же смог бы понять ее и пойти ей навстречу... Ждать было бесполезно. Уехать? А куда? Куда ей ехать, если печальство не отпускает, если нет у нее родни, а подружки-однокурсницы бог знает где. Некуда ей было ехать да и нельзя.

А ведь должен же быть на свете человек, который ждет ее, мечтает о такой, как она, достойный ее человек! Где он?

А может быть, и нет его, а есть только глупые фантазии. Да и почему он должен прийти сам, готовенький, как сказочный принц? Верно лишь то, что везде есть хорошие люди, хорошие парни. Тот же Гайкин... А ведь не влюбилась она ни в кого до невозможности жить без него, не сделала своим единственным, не помогла ему стать таким, каким он ей нужен, каким мечтается. Может, сама и ви-

повата? Надо ли так носиться со своей гордостью? Да и сама-то уж так ли хороша, много ли лучше других? Ведь и в новом месте, если уедет куда-то, она останется прежней. Так не все ли равно, Крутец или не Крутец?.. Или весь мир для нее вот такой, отгородившийся и обижающий ее Крутец? Или уж сама такая... не понимающая чего-то и невезучая?

Честно рассуждая сама с собой, Женя уже перестала стыдиться мыслей, когда она словно бы примеряла к себе парней, старалась по косточкам разобрать их характеры, внешность, привычки, угадать, какими они стали бы в семейной жизни, в жизни с ней, как повели бы себя в беде и в радости,— старалась докопаться до всего и мысленно представить все. Не стыдилась, потому что знала: думать об этом надо, чтобы не совершить ошибку, расплачиваться за которую придется всю жизнь. Не стыдилась, но видела себя в такие минуты расчетливой бабой, противной самой себе, которая уже чем-то похожа на привередливую вековуху, глупую, никому не нужную.

...Да мало ли о чем думала Женя бесконечными зимними ночами в запредельном Крутце, до крыш занесенном снегами,— Женя, оскорбленная робостью Гайкина, высокомерием Чистякова и разного рода равнодушием и непорядочностью других...

А Гайкин и Чистяков все еще уживались в одной квартире. Кирилл Кириллыч втайне страдал. Не любил он, когда его поминутно вызывали на откровенность. А Чистяков, как нарочно, старался выжать из начальника все, что ему было нужно и не очень нужно. Редкий вечер проходил у них без опротивевших Гайкину споров. И не мог хозяин ни отшутиться, ни уйти в себя: настырным и, пожалуй, пронцательным был Валерий.

— Скажи честно, почему ты не женишься на медичке?— уже в который раз допытывался Чистяков.

— А почему я должен это делать?— отбивался Гайкин.— Она же тебе нравится.

— Пожалуй, да,— бесстрастно соглашался Валерий.— Но жениться я буду не на ней и не здесь. Но она ведь и тебе нравится!

— Я тоже, может быть, не здесь намерен жениться...

— Хотел передернуть, а сказал правду,— по-своему

попимал его и разоблачал Валерий.— Ты в райцентре на кого-то глаз положил. Скоро я об этом узнаю и точно тебе доложу. Тогда не отвертисься. Давай на спор.

— Треплешься! — сердился Гайкин. И шел в наступление.— Врешь, что Женя тебе нравится. Ты о ней плохо думаешь, как обо мне и обо всем, что видишь в Крутце. И вопросы ты задаешь не потому, что интересуется тебя моя личная жизнь, а просто из эгоизма: для себя что-нибудь полезное хочешь извлечь из здешней обстановки, опыта набраться.

— Не скажи, — без азарта возражал Чистяков. И Гайкину начинало казаться, что он чего-то не понимает в поведении Валерия, что отстал он от нынешних молодых да ранних инженеров. Думалось, что все эти его затруднения и тревоги ясны Валерию, и на душе становилось тоскливо, потому что сам собой напрашивался вывод: спета твоя песенка, товарищ Гайкин.

— Давай спать, — расстраиваясь, предлагал он.

А через день Валерия интересовала уже другая тема. И Гайкин не мог устоять, надо же было отвечать что-то, и заводился.

— Скажи честно, что ты высидел тут за десять лет беспорочной службы? — допытывался Валерий. — Не чувствуешь ли, что деградируешь как инженер и как личность?

— Не чувствую. Не я один, — отвечал Гайкин, стараясь найти убедительные доводы, но и не раскрываться до конца.— В таких же поселочках живут учителя, медики, ветеринары, наконец. И до пас жили. Многие всю жизнь на одном месте. Люди их добром вспоминают. А теперь и инженеры не редкость. Как они, так и я. Заработка хватает. Не всем же сидеть в городах, в пластиковых кабинетах с кондиоперами. Не вижу деградации...

— Плохо, что не видишь, — не отступал Валерий. — Не понимаю, чем тебе мила такая участь? Ведь это же медленная смерть. А ты еще ерпенишься, стараешься что-то доказать, меня агитировать... Или считаешь, что начальник с подчиненным только так и должен говорить? Ортодокс ты запрограммированный. Но ведь ты же прежде всего человек!

— Это как на жизнь глядеть... — не сразу и нехотя отвечал Гайкин, сознательно пропуская кое-что мимо ушей.— Не все в таких местах выдерживают, верно. Но

ведь дело-то, задача-то наша — благородны! Это не громкая фраза. Мы тут нужны. Для того пас и утили. Вернее, для этого мы выбирали профессию. Я так понимаю. Не беда, если мы в чем-то отстанем от столичной науки, можно ведь и подучиться при желании. А я не могу назвать человека культурным, если он не хочет приносить пользу ни вообще, ни в частности на своем месте. Пользу делу и людям. Не интеллигент тот, кто думает лишь о собственной персоне и о том, куда бы ее получше пристроить.

— Допустим... Польза людям... А мы с тобой кто? Почему именно мы должны жертвовать собой для других? Да нас еще и самих надо за уши тащить к настоящей культуре!

— Никто не мешает тебе совершенствоваться. Но работа по специальности — это не жертва, а долг, даже удовольствие.

— Слушай, Кирилл Кириллыч! Не устраивай мне лекцию по политическому ликбезу. Ты же не лишен ума. И во мне должен бы это заметить. Так зачем же ты от меня прячешься за газетные штампованные истины? Зачем себя, свои мысли, душу, мечты прячешь? Ты их так можешь упрятать, что хватишься при случае, а и пет ничего, было — и все вышло. Тогда как? Сам ты уже давно и крепко упрятан в Крутец. Но если ты умный, то сам должен не верить тому, в чем убеждаешь меня. Не любить то, что советуешь любить мне. Зачем меня-то обманывать? Я не продам. Есть же в тебе честолюбие, личные желания, просто человеческие желания? Ну хотя бы стать чем-то позначительнее, а не начальником здешних мастеровских. И жить в приличном месте, а не в этой дыре?

Гайкин неопределенно усмехался. И непонятно было, то ли он согласен с Валерием, но не считает нужным разоблачать себя, то ли не согласен. Валерий понукал его, требовал ответа, а он говорил почти то же.

— Допустим, — предполагал он. — Уедешь ты в большой город. Будешь сидеть, к примеру, в главке. Кем ты хочешь стать-то? Ладно. Вообразим тебя на посту начальника главка. Крупный работник Чистяков! Звучит. Но и там над тобой будет начальство, а ты его не любишь, одно плохое в нем видишь. Это точно, не возражай. А в итоге и там тебе придется заниматься тем же, чем здесь. Только там масштабы и работать, должно

быть, много сложнее... Если честно работать. Ты этого хочешь?

— Почему бы и нет? Даже то увлекает, о чем говоришь ты. А говорить ты взялся о том, о чем не имеешь ни малейшего представления. Разве так там живут!

— Имею я представление,— спокойно возражал Гайкин. И эта уверенность злила Чистякова.

— Букварь ты. Рабочая лошадка, которую хоть корми, хоть нет, хоть на морозе держи, хоть в приличном стойле — она все равно свой воз повезет куда прикажут. Унылая судьба.

— Пусть букварь. Но без азбуки грамотным не станешь. А ты и азбуки производственной еще не знаешь. Беда будет, если тебя сейчас в главк посадить. А ведь ты сел бы, а?

— Давай спать,— раздраженно сказал Чистяков, давая понять, что разговаривать с Гайкиным — пустое занятие.

— Давай,— охотно согласился Гайкин, хотя в этот раз он чувствовал себя победителем и был готов сказать Чистякову еще немало. Так и хотелось припомнить, что, оставаясь за начальника, Чистяков не раз отдавал в мастерских эффектные с виду, а по сути — неразумные распоряжения, срывал график ремонта. Что Чистякову, прежде чем мечтать о главках, надо бы изучить хотя бы основы деловых отношений мастерских с колхозамп и районной сельхозтехникой, не говоря уж об областных организациях. Гайкин видел, что Чистяков недоволен собой за промахи, но считал, что должен научить Валерия сам. Оттого и спорить считал для себя неудобным, валить на Валерия свою вину он не мог.

В мастерских Гайкина заедала текучка, Валерий возле него тоже не торчал, посвящать заместителя в деловые секреты было некогда. А вечерами Чистяков мог только спорить.

10

На исходе был март, когда в Крутце запахло весной. Упрямые морозы-утренники отступали с подворий. Набирающее силу солнце пробивало слежавшиеся сугробы. Веселели жители Крутца. Даже Гайкин, встретив на улице Женю, хохотнул по-ребячьи и запустил в нее снежком.

Женя ответила тем же. Причем Женя шорвила попасть в Гайкина побольнее, а он не очень-то целился. Но оба они быстренько одумались и разошлись, не сказав друг другу ни слова. Улыбки их тотчас погасли, лица словно усохли.

Весна, казалось, не действовала только на Чистякова. Он так же официально расхаживал по мастерским, строго читал доклады в рационализаторском кружке и, как заведенный автомат, без улыбки демонстрировал новые танцы. Весной он стал выглядеть еще более нездешним. С раздражением замечал, что его уже не слушают так внимательно, как сначала. Ему не хотелось признаться, что он надоел своим подопечным, как и они ему.

Но это не значило, что Чистяков собирался отступить. Кредо было высказано, стиль работы найден, менять его не было причин. И ничто не должно было помешать Валерию в достижении цели, хотя сама цель после споров с непробиваемым Гайкиным уже не казалась ему столь ясной.

В мастерских прибавлялось работы — колхозы готовились к посевной. Пришло время штурмовщины и сверхурочных, и у Чистякова сорвалось плановое собрание. Он почернел и кричал на своих комсомольцев, а те отворачивались от него, дел у каждого было невпроворот. После такого ЧП в Крутец прибыл Сева и для начала завернул в медпункт.

— Почему не стало явки? — недоумевая, подступал он к Жене, далекий от мыслей о прежних шалостях. — Ведь раньше все шло нормально!

Разговаривать на такую тему Жене не хотелось, поднималась незажившая обида.

— Ну в чем же дело-то? — допытывался Сева, уставясь ей в глаза.

— Не знаю... Может, наскучил им Чистяков. Говорят, он не для пользы мероприятия проводит, а чтобы показать свою образованность. С собой любитесь... — наконец заговорила Женя.

— Я предполагал, — невесело согласился Сева. И спросил: — А ты его, значит, недолюбила?

— Ты не предполагай, а с людьми поговори, — почти обиделась Женя. — И на Чистякова полюбуйся, как он тут выламывается. Одна его шуба чего стоит! Носится сней, как с дитятей. Придет в мастерские, снимет и кладет ее Гайкину на стол. Некуда, мол, больше чистую одежду

положить, везде грязь. Это он так на Гайкина воздействует для культуры производства. Чистота, конечно, и в мастерских должна быть. Но нельзя же так-то! А Гайкин терпит, словно он у Чистякова в подчинении.

Сева хмуро сдвинул белесые брови.

— Пойду,— со вздохом сказал он, уверенный в том, что нелегко будет разобраться во всем и что обеспечит ему Чистяков новые дрязги.

Еще издали Сева слышал крик и прибавил шагу. И все же опоздал.

У ворот мастерских его чуть не сбил с ног Валерий — растрепанный, бледный, без шапки. Он не обернулся на крик Севы, кинулся за угол. Остро почуяв недоброе, Сева метнулся в цех и наткнулся на знакомого слесаря, который судорожно затягивался папиросой. Грудь его круто вздымалась и клочкотала.

— Что стряслось-то? — Сева ухватил его за рукав.

Парень глянул на него бешеными глазами, рванулся, но Сева держал крепко.

— Ну мне-то... Расскажи!

— Этого инженерика... «Темную» ему надо устроить... — прерывисто проговорил слесарь, с грохотом топнув по окурку.

— С ума сойти! За что?

— Есть за что!

Слесарю трудно было говорить, и он, задыхаясь, срывался на крик.

— Подлец!.. Детали налево пускает... А нам? Кто виноват, что его сахарная шуба об фуфайки измазалась?.. И вопит...

— Кто вопит?

— А-а... Чего говорить зря. Бить таких надо!

Слесарь круто, в один прыжок обошел Севу и исчез, унося в стиснутых кулаках обиду.

Мимо еще проходили люди, тоже не по-хорошему возбужденные. Сева пометался между ними, но ничего нового не узнал: с ним не разговаривали, обходили стороной, отводя глаза.

Сева ринулся в контору. Почему-то в мозгу у него крутилось одно отвратительное слово: «темная», «темная...» Кабинет Гайкина был открыт. Гайкин быстренько пропустил друга и крикнул в бухгалтерию:

— Ко мне — никого!

А Севе сказал:

— Ты кстати.

И запер двери.

У стола сидел Валерий, что-то счищая с рукавов пиджака. Выглядел он вполне спокойным.

— Что у вас, пожар? — оглядев хозяев, спросил Сева.

— Хуже. Драка, — упавшим голосом ответил Гайкин и, недобро глянув на Чистякова, добавил с сарказмом: — Вот у него, у секретаря комсомольской организации спрашивай.

— Это была не драка, — с деланным спокойствием отозвался Валерий. — Я просто добивался порядка и дисциплины.

Сева ничего не понимал. А Гайкин хлопнул себя по-бабьи по бедрам и приглушенно закричал:

— Разъясни ты наконец свои штучки! Куда запчасти списывал? Почему слесарю этот несчастный подшипник не дал? Какой тебе надо еще порядок, когда сейчас и так каждый работает за двоих?

— Этот подшипник был уже на своем месте, в резервном заднем мосту, все равно, что в отремонтированной машине, — чуточку повысив тон, ответил Валерий.

— На каком своем месте? — недоумевал Гайкин.

— На своем месте в резервном узле заднего моста к дизелю. Я кладу начало узловому методу ремонта. У меня уже не один узел собран. Придет завтра трактор с поломанным задним мостом — мы его меняем за полдня, и готово. И не надо людям работать за двоих и сверхурочно. Это же элементарно!

Гайкин побелел. Его бесило самоуправство Чистякова и еще то, что его заместитель, пожалуй, был прав. Брови у Гайкина высоко поднялись да так и застыли посередине лба, щеки усохли.

— Кто тебе позволил? — сухо спросил он, сдерживая ярость.

— А я сам... требования технического прогресса заставили.

— Но ты же оголил склады, под откос пустил весь наш дефицит... — сорвался на крик Гайкин. — Встанет завтра трактор в борозде, а у нас пусто. Скандал!

— Почему встанет, если он отремонтирован с гарантией?

— Да встают же каждый год!

Гайкин схватился за голову и забегал из угла в угол. Выкрикнул не своим голосом:

— Я запрещаю!

— Как знаешь, — с тоскливым сожалением отозвался Чистяков.

— А собрание почему не провели в срок? — подступил к нему Сева, считая, что пришло время постоять за себя и поддержать Гайкина.

— Провели бы неделей позже, какая разница? Но зато повестка была бы шикарная: первые итоги внедрения агрегатного метода и дальнейшие задачи, — с плохо скрытой издевкой ответил Валерий. — А теперь — ваше дело... Если передовые методы здесь запрещаются...

Гайкин вдруг спросил довольно спокойно:

— Расскажи, как дрались-то?

— Он выкручивает подшипник. Я его оттаскиваю. Он отмахивается. Всю шубу мне мазутом разрисовал, выбросить придется. Я знаю, что такое мазут...

Помолчали. Заговорил Гайкин:

— А ты знаешь, что этот слесарь если что и возьмет в мастерских, так это оборачивается для нас двойной пользой? Он же и вернет все! Из своего запаса нам принесет, если для дела надо. У него же дома и мотоцикл, и насосы воду качают, и самодельное грузовое шасси, и всякой другой малой механизации навалом! Все своими руками из старья и лома собирает. Он же изобретатель! Нам без него — беда.

— Знаю, что изобретатель. И еще знаю, что порядка в мастерских нет. И ты не даешь его наводить.

— Ну, это уж слишком! — возмутился Гайкин. — Это уже клевета. Давай тогда с народом разговаривать. Оп в таких делах не ошибается.

— Собирай! — бесстрашно бросил Валерий.

Сева только глазами хлопал, слушая спор.

11

Собрание вел Гайкин, потемневший и непривычно официальный. В клубе было тесно, но передняя скамейка оставалась свободной, потому что на ней сидел Чистяков. Он глядел прямо перед собой, положив ногу на ногу, и Севе со сцены было видно, как дрожит его начищенный ботинок.

— Начнем,— хмуро сказал Гайкин. — Прошу подняться тех, кто бил инженера Чистякова,— от волнения он плохо выговаривал слова, проглатывая окончания.

— Никто меня не бил! — резко сказал Валерий.

В зале никто не поднимался. Гайкин растерянно молчал.

— Может, и шубу мазутом не обливали? — спросил он вдруг раздраженно.

— Вещь, к сожалению, испорчена. Кто-то пошутил,— с сарказмом проговорил Валерий.

— Что вы намерены теперь делать? Скажите? — спросил Гайкин, не глядя на него.

— Жаловаться не намерен. И много говорить — тоже. Буду добиваться, чтобы меня сегодня же уволили.

Гайкин снова помолчал. В зале застыла напряженная тишина.

— Обойдемся! — донесся голос из задних рядов. Тотчас же по рядам пронесся шумок. Но Гайкин поднял руку, и все смолкло.

— Инженеры нам нужны,— без особого выражения сказал он.

— Только не такие! — опять крикнули из зала. И снова Гайкин молчал.

У дверей возбужденно вскочил старичок, заговорил горячо:

— Я никого не оправдываю. Ни Чистякова, ни тех, и беда невелика. Ни единой царапинки нет. Но инженеру так вести себя не к лицу. Не любишь ты нас, товарищ Чистяков! Не знаю, уж чем мы перед тобой провинились. А за нелюбовь — тем же и платят. Почто же на рабочих-то людей волком глядеть? Неужто этому в институте учили?

Старичок еще что-то говорил в том же духе, но его слова потонули в шуме.

Сева волновался. Он ожидал, что Гайкин примется выявлять зачинщиков, стыдить их, требовать объяснений, грозить судом и милицией... Но получалось, что стыдили и осуждали пострадавшего.

«Впрочем, пострадавший ли Чистяков? От него, может, и люди, и дело — больше страдали?» — подумал Сева, путаясь в мыслях. Ему и крах Чистякова был почти радостен и в то же время хотелось, чтобы устроители «темной» были строго наказаны.

— Уж так некрасиво все! — мучаясь, почти вскрикнул Гайкин.

Выглядел Гайкин таким расстроенным и постаревшим, словно свалилось на него большущее личное горе. Люди глядели на него и умолкали. Даже те, кто только что глядел дерзко, с сознанием собственной правоты, один за другим опускали глаза.

Видимо, любили крутецкие ремонтники своего начальника и теперь казнили себя оттого, что ему из-за них так тяжело.

После долгого молчания Гайкин вроде бы и невпопад спросил:

— Вы имеете к кому-нибудь претензии, Чистяков?

— Я не нищий! — бросил Валерий презрительно.

— Кто желает выступить? Надо обсудить все сообща. Принять какое-то решение, — призывал Гайкин. — Он долго уговаривал зал, но губы у всех были сомкнуты. Даже не шептался никто.

Сева тихонько забрался за сцену.

— Я думаю, вопрос надо вынести на комсомольское собрание, — проговорил он на ухо Гайкину. — Я знаю, тут замешаны комсомольцы. Мы и разберемся, когда люди поуспокоятся. А сейчас... не стоит, сплошные эмоции.

Гайкин благодарно глянул на него, и Сева понял, что поступил умно. Приободрившийся Гайкин объявил собранию суть Севиного предложения, но тотчас сказал, что расходиться рано, потому что надо поговорить о другом, о делах весенних. Собрание шло еще больше часа, высказаться пожелал чуть не каждый, и Гайкин одинаково заинтересованно слушал всех, делая пометки в блокноте и порой сердито вступая в спор. Верх в этих спорах всегда получался за ним.

Никто не обратил внимания, что Сева и Чистяков ушли. О них забыли. А они месили по улице сырую снежную кашу и молчали.

— Что теперь делать-то будешь? — спросил наконец Сева.

— Не твоя забота! — огрызнулся Чистяков, словно перед ним был лютей враг.

— Ты все же секретарь... Райком отвечает.

— За меня отвечать не надо. Скажи своему другу Гайкину, что я уезжаю в район, а если потребуется — и в область. Я докажу, кто прав.

— Ну, а наш райком?

— Брось! Несерьезно.

Валерий легко прыгнул через кювет и пошагал в обратную сторону.

Сева сжал губы. Он недолго глядел в синю Валерия, готовый догнать его и дать по затылку, но сдержался. Вскоре он сел на мотоцикл и помчался к дому, грустно размышляя о том, что теперь ему от выговора за Крутец не отвертеться. И все из-за Чистякова.

Люди из клуба давно разошлись, а Гайкин все еще сидел за столом президиума. Идти домой, к Чистякову, ему не хотелось. Да и подумать надо было, разобраться по горячим следам во всем, пока никто не мешает.

— Вот так-то, Кирилл Кириллыч, — со вздохом сказал он себе. — Не миновать тебе разноса. В кровь избьют в районе...

— Так-то, — повторил он тише и умолк, задумался. Он-то мечтал, что выйдет из Чистякова толк, что через полгода на свое место его можно будет рекомендовать и тогда-то уж забрали бы Гайкина в райцентр. А что получилось? Получилось то, что не умеет еще Гайкин с кадрами работать, воспитывать подчиненных. Выезжает пока за счет того, что народ у него золотой: не летупы, не лодыри у него слесаря. С ними без забот. А молодого инженера Гайкина не уберег. Теперь Чистякову на всю жизнь душевная травма. А Гайкину на выдвижение — рано... Что еще можно сказать? Что на ошибках учимся? Так это не оправдание. Мог бы Чистяков работать, характер у него есть. Блажь из него надо бы только выбить. А не сумел Гайкин. Не считал нужным, остерегался говорить с ним на полном серьезе, увертывался. Прав был Чистяков, когда обозвал его букварем. Еще и букой мог бы назвать. Во всем виноват Кирилл Кириллыч, если разобраться честно. И начальство так скажет. Оно скажет. Ну и дела!..

Обескураженный всем свалившимся на него, Гайкин уныло поплелся домой. Света в окнах не было, значит, улегся Чистяков. Это хорошо. Но слепые окна квартиры показались такими постылыми, что захотелось плюнуть в них. Не надо бы шуметь, а он пнул ногой дверь. Что-то незнакомое, неладное творилось с ним. И не было сил взять себя в руки, стать самим собой, вежливым и сдержанным Гайкиным.

Он включил свет и сразу понял, что Чистяков уехал. Руки его облегченно опустились, расслабились. Можно было не очень-то следить за собой в одиночестве. Он перевел дух и тут же поймал себя на эгоистической радости. Сам себе стал противен. Еще больше озлился. Ударил по выключателю кулаком, едва не разбив его. Руке стало больно. Боль заставила его немного опомниться. Он решил успокоиться, сел, уронив голову на стол и стараясь не думать ни о чем. Темнота скрыла от него и опротивевшую вдруг мебель, и уродливую железную полку из труб. Да и постылое собственное лицо не морщилось в зеркале. В темноте было лучше.

Мыслей и не было. Горечь вытеснила их. И Гайкин на время поддался этой горечи, а она, обволакивая его, что-то нашептывала, вызывая жалость к самому себе и упрёки в адрес судьбы, начальства. Теперь жили как бы два Гайкина. Один скорбил и утешался банальной мыслью, что мир несправедлив вообще, а значит — и к нему в частности, и уж тут ничего не поделаешь — надо терпеть, и Гайкин будет терпеть и мучиться, если это кому-то надо, если уж выпала ему доля всю жизнь быть серой рабочей лошадкой. А второй Гайкин словно бы со стороны усмехался, глядя на первого, и толковал, что все это блажь, глупость и слабость, просто сдали нервышки и надо отдохнуть, выспаться и идти завтра на работу, как ходил он на нее не одну тысячу дней, и оставаться надо прежним Гайкиным, потому что никем иным он быть не может все равно и что люди, мастерские, план — гораздо важнее его личной тоски и обиды. Да и какая тут тоска — просто растерянность. А она не к лицу. Хорошо, что никого нет рядом. Он внушал, что должно же быть у Гайкина самолюбие и уважение к своей профессии и что он обязан исполнять здесь свой долг столько, сколько потребует жизнь. Не бежать же ему из Крутца, как этот мальчишка Чистяков.

Впрочем, Чистяков не мальчишка. Он уже окрепший, но еще неопытный, заносчивый. Эта шелуха отлетит с годами, особенно в горячей работе, когда человек увлекается, забывает о себе, отдается делу без оглядки, целиком. Мог бы Чистяков так отдаваться работе, мог бы. Но его надо было умно увлечь, поставить перед ним какую-нибудь непростую задачу, сыграть на честолюбии... А Гайкин не догадался об этом вовремя. Теперь поздно.

Он представил, как терзается сейчас, наверное, гордый Чистяков. Испугался даже, что Валерий руки на себя может наложить, и виновен в этом будет он — Гайкин...

Руки его судорожно скользили по столу, и кулаки то сжимались до острой боли под ногтями, то безжизненно расслаблялись.

— Так нельзя! — почти вслух вдруг сказал он себе. Встал и пошел на вокзал. Грудь его то и дело пробирало тревожным холодком. Думать о Валерии было страшно-ваго.

Надо было идти домой. Идти не хотелось. Зачем? Пойдешь — и придешь к самому себе, в темный холостяцкий угол, где только что он пережил такие нелегкие минуты. Нет, даже ноги не шли домой. Они вроде бы бесцельно несли Гайкина по пустынным улицам и все же вывели на ту окраину, где приткнулся к поселку одинокий медпункт.

Возле медпункта он остановился, подумал и шагнул в тень между тополем и забором... Интересно, поняла бы его сейчас Женя или нет? Наверное, поняла бы: женщины — народ тонкий и чуткий, к тому же она его давно знает и в курсе всех крутецких передряг... Она бы поняла... Только что даст Гайкину это понимание, зачем оно?..

Ремонтники — все до единого — его понимают. И сочувствуют. Это точно. Но ведь никто не болтает об этом, не лезет с душевными словами. Не болтали мужики и правильно делали. Хмурились, правда, глаза опускали, вздыхали... И достаточно. Мужчина сам должен все в себе переварить, а не ходить к кому-то за сочувствием и жалостью. На то он и мужчина. Прийти к кому-нибудь со своей тоской и бессилием — значит показать ему, что ты слабак, отдаться к нему в руки. А как он позже использует этот фактик? По-всякому может использовать: уважать перестанет, на смех подымет...

Гайкин стоял перед темными окнами медпункта и думал, сурово сдвинув брови. Он не мог понять, как другие во всем доверяются женам, шепчутся с ними, утешаются на их плече, надеются на их поддержку. Он не понимал, при чем тут женщина, жена или еще кто-то, если человек, мужчина, тем более руководитель, сам должен разобраться во всем, принять решение и действовать. Он не мог представить, зачем еще нужна жена, кроме того, что с ней можно спать и любить ее, что она может приготовить

обед и постирать белье. Ведь не способна же женщина, пусть и жена, понять все это мужское. Не те они люди. И глупо целиком отдавать себя им. И стыдно. Для муж-чины...

Но за бревенчатыми стенами медпункта была не вообще женщина и не жена, а медичка Женя. Всякий раз, думая о ней, Гайкин чувствовал сосущее волнение и неотвратимость надвигающегося будущего, накрепко связанного с ней. Страшно стало становилось от этого, зябко и тревожно. Чтобы избавиться от этой обреченности, он изо всех сил старался переключить себя на что-нибудь другое, на работу чаще всего. И это удавалось. А сегодня? Сегодня — нет. Наверное, оттого, что сам пришел к медпункту, а остальные думы и заботы были передуманы или осточертели.

Слабая мысль — зайти сейчас вот к Жене — была провокационно интересна. Она толкнула его с места, и он шагнул за калитку. Поднялся на крыльцо, беззвучно наступая на ступеньки. Замер у дверей.

«К ней можно в любой час стучать: мало ли кто заболел», — сообразил он и тут же понял, что трусит и оттого придумывает для себя повод, оправдание. И он опять не понравился сам себе.

«А зачем, собственно, я к ней иду? — мысленно удивился он. — Ведь вовсе незачем. И так все ясно. К чему ес-то тревожить, наводить на мысли... Ей и без этого веселья мало. Хорош я буду с таким визитом. Глупости буду болтать, через силу... Я же не столь влюблен, чтобы рваться... Может, и вовсе не влюблен. Думаю только о ней, потому что не о ком здесь больше... А может, люблю, оттого и боюсь, и тревожить не смею?.. Или...»

Ноги его уже нащупывали нижнюю ступеньку. Вот и снежная тропка. Прихватило снег ночным морозом, как камень. Хорошо, и ботинки не скрипят...

Гайкин вышел на улицу, вздохнул, словно сбросил тяжесть, и ровно пошагал к дому. Он почти забыл обо всем, о чем только что думал и что хотел предпринять. Упрекал себя за выходку, за непростительную сегодняшнюю слабость. Но легко, спокойно упрекал. Вернее, он чуточку был недоволен собой, почти как всегда, в любой день. Да и надосло все. Устал он. И зачем тревожиться, если никто его не видел. Да если бы и видели сейчас его возле медпункта, никто не стал бы в поселке трепаться,

распускать сплетни. Не стали бы смеяться над ним здешние жители, даже не намекнули бы. Это точно. Они — люди, как и он для них — человек. И Женя.

И он почти забыл о сегодняшнем дне. Совсем забыл. А если и помнил, то это воспоминание его уже ничуть не тревожило.

Дома он быстро заснул. И спал глубоко и здорово, как спит усталый человек.

12

Сева махнул рукой на то, что Крутец остался без комсомольского секретаря. Он решил: хватит пороть горячку, надо все хорошенько продумать и взвесить, а уж потом... Оттого утром, успокоив себя тем, что райкомовцы считают его находящимся в командировке, он рванул по морозцу в колхоз своего нового друга и активиста Ивана Ивановича.

Утренняя стынь до косточек пробирала его, она колко била в лицо, прорывалась и под нейлоновую куртку. А Сева ехал с улыбкой.

С удовольствием промчался по просыпающемуся Крутцу и подумал, что без Чистякова тут снова все встало бы на свои места, что секретарем надо опять избрать Женю и к ней можно будет заскакивать в медпункт, как прежде...

Но как живет Иван Иванович со своей красавицей? Надо бы все разузнать. Неплохо бы попроситься к ним на обед... Сева решил, что обязательно попросится, прибавил газку. Мотоцикл по утреннику летел — хоть пой!

Встретились они посреди деревни и честно обрадовались друг другу.

— Немедленно со мной! На машинный двор! — закричал Иван Иванович. — Поглядишь, что мы там устроили. Наряд и демонстрация!

Сева оставил мотоцикл возле колхозной конторы, и они двинулись за село. Иван Иванович не обманул. Здесь и в самом деле было на что поглядеть.

На просторной площадке красовались выравненные в нитку трактора. Вороненные и огненно-оранжевые гусеничные тягачи, голубые щеголеватые «Беларуси» и еще какие-то забавные тракторишки с криво поставленными колесами. А за ними — ряды сеялок, плугов... Добрая сот-

ня машин! Казалось, что плуги и сеялки протягивают к тракторам свои цепкие металлические дышла, словно просят взять их с собой, на работу.

— Ну как? — ликовал Иван Иванович.

— Здорово! — искренне восхищался Сева. И наивно, а может, и с умыслом, чтобы еще больше поощрить друга, спрашивал:

— И это все исправное? Без показухи?

Иван Иванович даже обиделся.

— Что мы тут — в игры играем? Побудь денек — еще не то увидишь.

Скоро Сева увидел и «не то». Здесь, на машинном дворе, состоялись экзамены.

Экзаменационная комиссия — два представителя из райцентра, милиционер из автоинспекции, председатель колхоза и сам Иван Иванович разместились в сарае с распахнутыми воротами, перед которыми были поставлены столы, накрытые красным материалом. Иван Иванович звонко выкрикивал фамилии, заглядывая в длинный список, и к столам подходили серьезные парни, а то и матерые мужики. Они подцепляли пальцами бумажные полоски билетов и, кто как мог, отвечали. Сева отметил, что кое-кто говорил довольно гладким языком технических учебников. После короткой обоюдной заинтересованной беседы с комиссией парни и мужики рысцой мчались к тракторам, заводили их и гоняли перед сараем, делая замысловатые маневры. Председатель колхоза не выдерживал. Он выбежал из-за стола, гонялся за тракторами, подавал команды и таскал новоиспеченных механизаторов к сараю за руки.

— Этому — пять, а этому — четыре, — тоном хозяина заявлял он. И если комиссия не соглашалась, приводил свои доводы. — Нельзя этому пятерку, он в прошлом году в самую горячую пору три дня гулял.

Члены комиссии крутили головами, сдерживая смех, и смирялись. Энтузиазм председателя передавался и им.

Экзамены выдержали все. И председатель взял слово.

— Шабаш, молодцы! Поздравляю вас. Теперь вы — главная сила. Но если не будет дисциплины — не быть вам и силой. Соблюдайте правила движения! — Председатель сделал красноречивый жест в сторону автоинспектора, который тут же приосанился и построжел с лица. — И берегите мне механизму! Она общественная, народная. Над ней вон сколько умных голов бились, а сломать ее может

любой дурак. Вот так. Теперь шабаш рвачам и незаменимым. По два механизатора на каждый трактор в колхозе стало. Это должно вам что-нибудь говорить? Будут темпы, а?

Председатель воодушевлялся все больше и азартно приглашал высказаться представителей из района. Но те только коротко поддакивали ему. Залюбовавшийся всей этой сценой, Сева громко хлопал в ладоши. Он не заметил, как Иван Иванович подкрался к нему сзади. Сева испуганно дернулся, когда он поддал ему под бока.

— Чего ты? Напугал...

— Давай потихоньку уматывать отсюда, — зашептал Иван Иванович. — Сейчас с ними автоинспектор работу проведет, а через полчаса, когда гости уедут, эти друзья такую складчину-гулянку на радостях организуют! Мне от нее надо скрываться. Иначе уоят. А я не мастак на это. Нехорошо будет.

— Мы с тобой лучше вдвоем отметим. Слегка так... — предложил Сева. — Носидим, потолкуем. Ты ведь и сам не представляешь, что ты тут сделал. Ведь это же такое событие! Такой пример!

— Конечно, я их учил, — деловито сказал Иван Иванович без тени похвальбы или рисовки. — Но ведь без этого нельзя... Для колхоза нужно. Да и люди к технике тянутся. И знать они ее должны в наше время. Как же иначе-то?

— Сколько удостоверений вручили? Я не считал, — перебил его Сева.

— Пятнадцать.

— Ну вот. Это же по городским масштабам — и то целый поток. А попробуй организовать в городе курсы: штат преподавателей, классы, наглядные пособия, часы, деньги огромные. Знаю я это. А вы...

— К уборочной комбайнеров будем экзаменовать, тоже собственной выучки.

— Чего ты раньше-то молчал, что курсы ведешь? Мы бы в райкоме отметили тебя. В газету бы написали, — упрекал Сева.

— А если бы я не довел их до конца? Если бы они развалились? Тогда что? Ведь всякое могло быть. Первый же опыт, — азартно возразил Иван Иванович.

— У тебя не развалятся! — убежденно вскрикнул Сева. — Да и мы помогли бы. Со стороны райкома.

— Тут не поможешь. Ладно,— утихомиривал его Иван Иванович.

Они подошли к конторе. Ивана Ивановича окликнули. Сева и накуриться не успел, как Иван Иванович снова показался на крыльце.

— Чудеса! И председатель меня на обед зовет. Понятно, что за обед будет. Ликует председатель,— сообщил он.

— Пойдешь? — поинтересовался Сева.

— Нет,— сказал Иван Иванович и потупился, погрузился.

Сева хотел было вслух удивиться перемене в друге, как к ним выскочил председатель.

— Правление завтра же соберу. Поставлю вопрос — премию тебе не меньше двух окладов,— горячо заговорил он Ивану Ивановичу. И вдруг так хлопнул его по спине, что Иван Иванович едва устоял на ногах. В следующий момент председатель наставительно толковал Севе:

— Напиши в газету. Не меня хвали — его. Побольше накатай, не жалей слов. Да за такое дело — слов мало! Эх! Да и в районе там расскажи, где надо.

Председатель ткнул кулаком в бок Севе, хохотнул и кинулся в контору.

— Чего это он, уже седой, а такой... — подивился Сева.

— Он такой... Любит дело,— сказал Иван Иванович.

— А мы-то чего? Все радуются, тебя поздравляют, а ты как на похороны собрался?

— Хватит обо мне,— хмуро буркнул Иван Иванович. И Сева увидел в нем такую грусть, что встревожился.

— Да в чем дело-то? Может, что личное? Может, я в силах? — спрашивал он с самым искренним участием, заглядывая другу в глаза. Но разглядеть глаза Ивана Ивановича было непросто, потому что отворачивался он, а Сева катил свой тяжелый мотоцикл и отставал. Но и так было видно, что мрачнел и сутулился Иван Иванович все больше с каждым шагом к своему дому.

— Ты женат? — неожиданно спросил он Севу.

— Давно. А что?

— И как живется?

— Да ничего. Все с первой женой живу, — сострил Сева.

— И я с первой,— вздохнул Иван Иванович. — Третий месяц она тут. Колхоз нам целый дом выделил, с хорошим

участком, сад можно развести. Председатель чуть не каждый день корову мне предлагает, за полцены и в рассрочку. Чтобы меня покрепче привязать, видимо. А меня привязывать не надо. Знал, куда шел. Я не сбегу. Ну, да он от души, я понимаю... Не в корове счастье. Да и не управиться нам с ней. Скверно то, что супруга моя даже людей здешних боится, не то что коров. Ни с кем не подружилась и не познакомилась по-настоящему. Меня чуть не каждый день в гости зовут, а к нам никто не идет. Ее стесняются, городскую. И ничего-то ее не интересует здесь. То ли спит целыми днями, то ли лежит, укрывшись с головой. Ничего здешнего ни видеть, ни слышать не хочет. Не готова она к деревне оказалась, хоть слово давала... Или ходит по дому, шепчет что-то про себя, пальцами хрустит... В кино всего один раз сходили с ней — и как отрубило. Холодно, говорит, в клубе и вообще это не клуб, а сарай. Публика на фильм дико реагирует, оскорбляет ее... Я лично ничего такого не вижу, а она... Вот и сидит дома. Ты извини, что я так нехорошо о жене говорю. Да еще за глаза. Не по-мужски это. Но мне такая вольтанка надоела... Может, и я виноват. Мне, если правду сказать, некогда с ней заниматься. Мотаюсь по бригадам, по мастерским, по кузницам, техучебу эту веду по вечерам, собрания... Придешь к полночи, усталый как черт, хочешь с ней поделиться, а она — голову в подушку... Плачет... Теща дважды приезжала. Шепчутся, как заговорщики. Со мной почти и не разговаривают.

— Может, ей поручение этакое придумать? На работу устроить? Можно же ее чем-то увлечь! — предложил Сева, горячо сочувствуя другу.

— Не поможет, — безнадежным тоном сказал Иван Иванович. — Я ее знаю. Попала шлея под хвост — значит, все.

Они подошли к дому Ивана Ивановича, просторному пятистенку, обшитому новым тесом.

— Хоромы! Особняк инженера Ивана! — воскликнул Сева в надежде развеселить друга. И осекся. Иван Иванович смертельно побледнел. Глаза его уставились на замок, красовавшийся на дверях.

— Куда они ушли? — тихо и растерянно заговорил он. Беспомощно оглянулся на Севу. — Некуда им уходить...

Он протянул к замку руку. Замок, тихо лязгнув, раскрывлся. Отбросив его, Иван Иванович кинулся в дом.

И сразу понял: случилось то, о чем он боялся даже предполагать, но что должно было случиться... Растерзанная постель без белья... На полу старые газеты... Разинутая пасть шкафа словно кричала о том, что его ограбили, оставив лишь одежду Ивана Ивановича. Друзья молча глядели на следы поспешного бегства хозяйки дома.

— Все, — сказал Иван Иванович и присел возле стола, обхватив голову. — И ничего не объяснили. А ведь я ее, кажется, любил.

Сева осенгло.

— Догоним! — закричал он. — У меня же мотоцикл. Как зверь! Поезд только через сорок минут. Мы застанем их в Крутце и все поправим.

Сева нахлобучил на голову друга шапку и потащил его на улицу. Мотор взревел с пол-оборота. Иван Иванович слабо подумал, что ехать не надо, незачем, что ничего уже не поправить, но безотчетно подчинился Севе. Да и не мог он сейчас остаться в одиночестве.

Разбрызгивая фонтаны ледяной воды, перемешанной с талым снегом, мотоцикл уносил молодых людей к станции Крутец. Мотоцикл был почти новенький, и ему еще неведомо было коварство весенних дорог. Об этом должен был знать многоопытный Сева. Но и он сегодня забыл обо всем.

Сева до отказа выкручивал ручку газа, заставляя послушную машину выбираться из гиблых луж и перепрыгивать через ледяные кочки.

«Я тебя догоню, дамочка! Я тебе скажу пару ласковых! Такого парня обижать!» — свирепо думал Сева. Он был уверен, что и жена, и теща Ивана Ивановича — препротивные городские мещанки, корыстные и лицемерные, что они и выбрали его — золотую голову, скромнягу, безответный характер, чтобы он кормил их всю жизнь. Конечно, деревенского парня можно сбить с толку, если он доверится... А видят, что не так получается, как они рассчитывали, и бросили его... Но Иван Иванович — не мальчик на побегушках. Он инженер, с призванием. Они и мизинца его не стоят, обе вместе...

«А вдруг да к лучшему, что она удрала? Найду я Ивану Ивановичу такую девчонку, что всю жизнь будет меня благодарить. Хоть ту же Женю сагитирую. Вот парато будет! Воскреснет Женька. Да и Иван Иванович узнает,

чего стояла его городская супружница и каковы настоящие девчонки. Так и сделаем! Все сам устрою!»

Сева ликовал от такой мысли. Ему казалось, что нет ничего проще сдружить и поженить инженера и медичку. Он оглянулся, крикнул Ивану Ивановичу:

— Может, не поедем!

— Чего? — переспросил Иван Иванович, не расслышав. Сева снова оглянулся, наклонился к нему ближе.

— Может...

Иван Иванович, сжавшийся в комочек на заднем сиденье, не видел вытаявших па краю большака куч гравия, пасыпанных сюда еще по осени да так и не разровненных. Их должен был видеть Сева. Но Сева, захваченный новой идеей, не видел ничего.

Скользнувший в колее мотоцикл бросило на кучу. Глухо охнул, заскрежетал неподатливый гравий. Смолк мотор. Иван Иванович не сразу понял, почему не за что стало ему держаться и отчего он летит, раскинув руки...

Больно стеганул по лицу льдистый снег, комом набился в рот. И тихо кругом... Солоно во рту. Тупо заныло все тело. Можно ли встать? Можно. Иван Иванович приподнял гудящую голову, крутнул ею, сбрасывая с лица оплавленные шматки красноватого снега. Глаза целы. Руки? Вот одна — в крови, ободрал. Другая? Не слушается другая. И боль, резкая, мутящая сознание. Иван Иванович упал в снег лицом и затих...

Сева поднялся шагах в десяти от него. Он провел по лицу ладонями, радуясь, что обмякшее с испуга тело быстро наливается прежней силой, что цел он и невредим. Но ужас болезненно полоснул его по груди, едва он разглядел неподвижное тело друга.

— Ива-ан! — не своим голосом вскричал он, кидаясь к нему.

Иван Иванович услышал его, попытался перевернуться грудью вверх — и не смог. Сева в два прыжка очутился рядом с ним, ткнулся коленями в лужу. Он легко приподнял товарища, близко заглядывая ему в лицо. Иван Иванович охнул.

— Рука... сломана... — прерывисто проговорил он.

— Ну как же я так! — в отчаянии возопил Сева, хватаясь за голову. Но он тут же забыл о себе, припал к Ивану Ивановичу,

— Жив. Ой, ладно. Ты прости меня. Сейчас все будет в порядке. Вылечим. Сейчас же к Жене в медпункт, — лихорадочно приговаривал он. И вдруг его озарило: «Не было счастья — несчастье поможет. Вот и невеста ему. Из рук в руки передам его. Добьюсь, чтобы в городскую больницу не увозили. Пусть у Жени лежит. Все ладно и будет».

Сева возбужденно блестел расширившимися глазами, а говорил с Иваном Ивановичем тихо и участливо, как с больным ребенком.

— Я тебя на руках донесу. Нельзя на мотоцикле, если перелом... Ты молодой. Быстро срастется. А я за такую беду в долгу перед тобой. На всю жизнь.

Сева без колебаний оставил казенный мотоцикл на дороге. Он нес Ивана Ивановича на руках. Крепкие Севины руки словно и не чувствовали тяжести, а ноги пружинили лучше машинных амортизаторов, хотя шагал он широко, стремительно. Главное было — не тряхнуть Ивана Ивановича, не сделать ему больно. И еще — быстрее.

Время летело. Все ближе Крутец. И когда можно было различить на окраине здание медпункта, со стороны вокзала донесся гудок отходящего поезда.

«Уехала! — почти обрадовался Сева. — И хорошо сделала. А то поднялся бы сейчас лицемерный вой, ахи, охи!»

13

В эти минуты Валерий, всем видом демонстрируя оскорбленное достоинство и презрение к Крутцу, прогуливался по перрону. Билет был в кармане. Легкий чемоданчик с самым необходимым — в руке. Путь предстоял пока до райцентра, хотя Валерий готов был ехать куда угодно, хоть в Москву, чтобы доказать свою правоту и ужасающий консерватизм Гайкина.

Так было решено еще вчера. Но сегодня мысли путались. То думалось, что обязательно доказать всем идиотскую позицию Гайкина, то вообще хотелось уехать отсюда далеко-далеко, в город, где учился, чтобы отдохнуть, развлечься — благо есть деньжонки, — а потом найти там приличную работу. И он стал ощущать приближение свободы и беззаботности, словно только что сдал экзамены за семестр и впереди — каникулы.

Подошел поезд. И Валерий, стараясь не ускорять шаги, двинулся к своему вагону.

— Ва-ле-роч-ка! — донеслось сзади. Он оторонел. Голос был невероятно знакомый. Да, подбегала она. Но не та кокетливая красавица, а зареванная растрепанная девица, едва волочившая тяжелый чемодан. И все же это была она, библиотечка, жена Ивана Ивановича.

Что-то произошло с Валерием, и он сделался галантным, чуточку развязным городским кавалером. Точно таким, каким бывал в моменты ухаживания за ней ещё в институте.

— Лара! Я не верю органам зрения, — сказал он, томно закатывая глаза.

— Спаси меня! Увези меня немедленно! — застонала она.

— В тундру увезти, мадам?

— Домой. У меня мало денег. Я не могла просить у Ивана.

— Я готов, но что я буду иметь?

— Не паясничай сейчас.

Через пять минут они уехали из Крутца в мягком купе.

14

Сева не сдержал слова, данного председателю колхоза, в газету не написал. Он вообще старался помалкивать, когда речь заходила об Иване Ивановиче. Но каким-то образом о делах колхозного инженера, в том числе и о семейных, узнал весь район. Иван Иванович стал всеобщим любимцем, всюду говорили о нем и сочувствовали ему. Но от этого Ивану Ивановичу было не легче. Он медленно поправлялся в Женском медпункте, которая после Севиных упрасиваний взяла грех на душу и уверила городского главврача по телефону, что у больного нет ничего опасного, одни ушибы и ссадины. А сама заковала руку Ивана Ивановича в гипс.

Целую неделю лежал Иван Иванович и молчал, осунувшийся и усохший, страдая от боли и от всего случившегося. Он винил только себя: и в бегстве жены, и в аварии. Молчал и терзался.

Он ни о чем не просил Женю, а она, скрывая от него, что не имеет права держать у себя лежачих больных, сама готовила для него еду, сама приносила ее к постели.

К нему каждый день приезжал кто-нибудь из колхоза, вечерами заходил Гайкин. Частенько заскакивал и Сева

с полной сумкой продуктов. Но не очень-то получались разговоры. Да и Женя не жаловала посетителей, стараясь поскорее выпроводить их.

Иван Иванович целыми днями следил за уверенными движениями доброй медички и думал о своем. Заговорил он с ней, когда немного пришел в себя. Заговорил так, словно продолжал тот давнишний разговор, когда он приходил сюда с разбитым пальцем.

— А у меня жена-то сбежала. И навсегда,— сказал он со слабой улыбкой, когда Женя что-то долгонько не выпускала из своих рук его тонкое запястье. Он еще хотел что-то сказать, но Женя, вспыхнув, остановила его.

— Знаю. Лежи, лежи, милый, тебе нужен покой,— сказала она приглушенно и быстро вышла. Ей до боли жаль было маленького инженера, такого отважного и такого обиженного, одинокого, с переломанными костями. Она едва удержалась, чтобы вновь не подбежать к нему, не прижать по-матерински его голову к своей груди и гладить, гладить его горячий лоб, светлые косицы волос, утешить его и успокоить. Но не было в этом порыве ничего чувственного, кроме жалости, сострадания.

Провожая ее взглядом и слыша, что она близко, за дощатой перегородкой, Иван Иванович грустно улыбался и думал над словечком «милый», которое порой срывалось с ее губ.

«Профессиональная пещность, казенная, в меру искренняя и ни к чему не обязывающая, ничего не обещающая», — убеждал он себя, припомнив, что в какой-то книге о войне фронтовая сестра называла всех раненых даже мпленькпми. Но отчего так запало в душу это слово? Потому ли, что еще никто не называл его так? Точно, никто. А каким тоном произносит это слово Женя? Пожалуй, нет в ее голосе никакой фальши. И как она вообще тут живет? О чем мечтает? С кем дружит?

Не скоро узнал Иван Иванович обо всем этом, потому что из города приехал врач, сделал Жене строжайший выговор, доведя ее до слез, и увез Ивана Ивановича в районную больницу...

Из этой больницы его отпустили дней через десять, когда строгим медикам стало ясно, что рука срастается нормально и здоровью его ничего не грозит. Иван Иванович сошел с поезда в Крутце. На его лице блуждала почти прежняя, чуточку застенчивая улыбка.

В поселке уже хозяйничала весна. Сияли залитые водой улицы. Гомонили грачи. Ослабевший и одурманенный, Иван Иванович брел по обочине, где еще лежал заледеневший снег, и каждый раз выбирал место, куда можно было поставить ногу. Его покачивало, как пьяного, но он не тревожился. Ему было радостно и приятно, что от проталин, от расплывшихся дорог поднимается острый запах мазута и бензина, неповторимый и стойкий запах тракторов, почти родной запах.

Он шел к медпункту. Увидев его еще издали, Женя выбежала на крыльцо. Простоволосая, в тапочках на босу ногу, она словно бы порывалась ему навстречу. Иван Иванович заспешил.

— Все хорошо, — на ходу заговорил он. — Тебя хвалили, лечила меня правильно. Здравствуй!

Они стояли на крыльце друг перед другом и радовались встрече. Иван Иванович приготовил немало хороших слов для Жени, но они вылетели у него из головы. Он стоял, ступенькой ниже ее, маленький, со счастливой улыбкой и не выпускал из своих рук теплую Женину ладошку.

— Что тебе предписали? Справку привез? — спохватилась Женя.

— Есть бумажки! Вот.

— Проходи в приемную. Тебе еще нельзя долго на улице, — поостороже сказала Женя, пропуская его вперед.

— Как в дом родной! — заявил Иван Иванович все с той же счастливой улыбкой.

Дверь за ним захлопнулась, и снаружи медпункт стал обычным домишкой, привычно глядящим своими чистыми окнами во все четыре стороны. А внутри он показался Ивану Ивановичу сказочной палатой, сверкающей белизной, покоем и радостью. Наверное, это было от солнца.

Они уселись по разные стороны Жениного рабочего стола. И пока она читала привезенные из больницы бумаги, Иван Иванович рассеянно взял со стола тетрадь.

— Дневник комсорга, — прочел он с удивлением. — Ты что, снова комсомольским богом стала?

— Пришлось, — ответила Женя. — Твой друг Чистяков недолго покомандовал.

— Да, Валерий... — вздохнул Иван Иванович и тут же забыл о нем. Он не мигая глядел на Женю, румяную, похорошевшую с весной. Хотелось быть с ней подольше, вообще никуда не уходить отсюда, даже в колхоз. Он ссу-

тулился, поддерживая больную руку здоровой, и все глядел, глядел на Женю преданными глазами. А она что-то записывала в казенную тетрадь, перебирая справки.

Иван Иванович вздрогнул, а Женя вопросительно подняла голову и крикнула: «Войдите!», когда в двери кто-то постучал. Иван Иванович нахмурился, затосковал. Уж очень некстати был сейчас для него любой пришелец.

Дверь открылась. На пороге вырос Валерий.

Они оба вскочили, пораженные, уставившись на Чистякова и настороженно ожидая его слов. Валерий слегка улыбнулся, словно понял их, шагнул ближе. Выглядел он заметно похудевшим, длинным и уже не таким вызывающе красивым. Что-то скупое, жесткое пряталось возле его губ.

— Здравствуйте, друзья, — легко проговорил он, довольный замешательством Жени и Ивана Ивановича. Но Жене в его голосе слышались намеки на осознанную вину и надежда на прощение.

— Здравствуй... Вот встреча, — пробормотал Иван Иванович. Чистяков кивнул ему и заговорил с Женей полудружески-полуофициально.

— Женя, прошу поставить меня на учет. Придумайте мне какое-нибудь поручение. И не будем ворошить старое. Надо работать, жить.

И Женя не могла понять, то ли ирония диктовала Чистякову слова и тон, то ли желание поиздеваться, то ли искреннее раскаяние в своих ошибках. Она все так же в упор глядела на него и не могла ответить ни слова. Да, это был Чистяков, Валерий, но тот и не тот. В нем еще улавливалось что-то прежнее, но теперь это, пожалуй, была не надменность, а скорее, подчеркнутое достоинство, мужская гордость образованного человека. Но глаза его были недобрые, взгляд ускользал.

«Мучается парень», — подумала Женя с жалостью. И спохватилась. Валерия ей жалеть не за что. Просто пора ответить ему.

— Хорошо, — сказала она и смолкла. Не очень-то уверенно прозвучал ее голос, словно робела она перед ним, боялась показаться неловкой и смешной провинциалкой. И все глядела на него.

— До свидания, — с легким поклоном простился Валерий. — Мы, наверное, скоро встретимся и поговорим подробнее. Я бы хотел...

Валерий глянул на нее страшно блестящими глазами. Глядел чуть больше, чем было прилично и, словно спохватившись, опустил голову. Лицо его стало расстроенным, он грустно подмигнул Ивану Ивановичу, как бы приглашая его посочувствовать ему, но вдруг построжел и, круто повернувшись, вышел.

Иван Иванович подбежал к окну, долго глядел вслед Валерию. Женья сидела за столом, прижимая ладони к горящим щекам.

Возвращение Валерия поселило в ней почти тот же страх и тревогу, почти ту же обиду и неуверенность в себе, как было тогда — после танцев на балу «осенние листья». Жизнь опять становилась ожиданием оскорбительных неприятностей. Но танцы с Валерием вспоминались как самые счастливые минуты жизни в Крутце. И хотелось думать, что Валерий может быть хорошим, как тогда, на танцах. Валерий показался ей сейчас поумневшим, опытным. А каким он будет с ней: то ли душевным другом, то ли еще более изощренным в своих издевательствах, скрывающим злобу и насмешку под маской кающегося грешника. Думать о нем было трудно. И невозможно было заставить себя не думать о нем. Он пугал, волновал, притягивал к себе, заставлял забыть обо всем другом.

Что-то неприятное, тревожное кольнуло и Ивана Ивановича. Силуэт Чистякова, маячивший далеко на улице, показался ему ненужным, враждебным Крутцу. Он стоял и хмурился, сбитый с толку. Никак не удавалось поймать порванную Чистяковым нить мысли, восстановить наполнявшее его теплое чувство к Жене.

Он снова вздрогнул, когда стукнула дверь. Вошла Женья, в домашнем переднике. Иван Иванович опять наполнился горячей благодарностью к ней. Он любил ее и такую, без казенного белого халата она казалась ему еще восхитительнее и роднее. Он медленно пошел ей навстречу с сияющими глазами и приоткрытым ртом, с губ его вот-вот готовы были сорваться какие-то очень значительные, теплые и нежные слова. Но Женья отвела взгляд и сухо позвала его обедать.

Обед был небогатый. Женья не ждала гостей. Она изредка поглядывала на него, как на соседского парнишку, которого надо было накормить. Лицо ее вытянулось, руки двигались рывками, словно ей надоело все, все раздражало и не терпелось, чтобы гость ушел поскорее.

А Иван Иванович тешил себя надеждой и тихо радовался, отыскивая в ее поведении, в переменах в ней что-то обещающее, близкое. И раздумывал, как лучше подступить к решительному разговору. Наконец он заговорил, посчитав, что время тянуть нечего.

— Я хочу сказать, Женья... Вернее, нам вместе надо подумать друг о друге. И решить. О самом серьезном. Давай, а?

Лицо его залило краской. Оно расплылось в глупой и жалкой улыбке. Но глядел Иван Иванович задорно, словно был уверен, что Женья, конечно же, будет рада его предложению, что вот-вот нахлынет на них обоих что-то большое и счастливое.

— Не надо говорить, — со страданием в голосе сказала Женья и опустила голову.

— Почему? Я о нас! — приглушенно вскрикнул Иван Иванович, не замечая ничего.

— Не надо. Умоляю! — с прорвавшимся раздражением резко сказала Женья. Она вскочила из-за стола, метнулась в дальний угол комнаты. Иван Иванович побледнел.

— Но почему?.. Так хорошо все... Я думал... — изумленно говорил он, чувствуя, что слова его уже не нужны, что произошло непоправимое.

— Тебе надо ехать домой, в свой колхоз. На работу пока не выходи. Но свежий воздух в меру полезен. Придешь через две недели, чтобы снять гипс, — прерывисто говорила Женья, не поворачиваясь к нему. — Я тебя не гоню. Но пойми... Больше так нам нельзя. Мне нельзя. Ты хороший парень и инженер, но... Я не гоню тебя медленно...

— Ты любишь Валерия, — прямодушно высказал Иван Иванович то, что мелькнуло в нем болезненной догадкой.

— Перестань! — крикнула Женья. Она плакала. Иван Иванович окаменел на минуту. Ему казалось, что на место грудной клетки кто-то вставил ему холодную каменную глыбу и по этой глыбе бьют молотом, с размаху, раз за разом. Его не тронули слезы Жени. Она была для него уже не восхитительным любимым человеком, а существом почти нереальным, далеким призраком, о котором надо забыть. Он думал о себе. В прах разбилась его лучшая, сокровенная мечта.

«И поделом. Слишком рано я начал думать об этом. Думать глупо, самоуверенно. Кто дал мне право считать,

что с Женей — все ясно, что следует только сделать первый шаг? Я был пошлым. Возомнил о себе... Это, наверное, от похвал в колхозе, от славы... Хороший урок. Заслуженная пощечина за пошлость... От меня только что ушла жена, мне бы надо стыдиться людей, а я с легким сердцем бросаюсь к Жене и оскорбляю ее...»

Так казнил себя Иван Иванович, не решаясь уходить спю же минуту. Ему казалось, что он должен сказать Жене что-то доброе, извинительное. Ведь никогда он не был таким пошляком. И он стал говорить о Чистякове:

— Валерий — неплохой человек, — сказал он, не обращая внимания на то, как болезненно вздрогнули Женины плечи. — Заносчивость — в нем не главное. Это скоро отшелушится. И он станет самим собой, каким я его помню по институту. Станет умным, настойчивым, сильным. Ну, и немного гордым он останется. Это неплохо. Гордые лучше других умеют беречь жену и семью. Он и из Крутца тебя увезет. Здесь не его масштабы...

Иван Иванович напряженно думал, стараясь быть совершенно честным.

— Это я честно, — добавил он и потоптался у порога. Но уж совсем ничего не мог больше придумать.

— Глупости все это. Не для меня, — глухим грудным голосом проговорила Женя. — Умеют же некоторые все по-своему понимать. Не надо мне советов.

— Не ругай меня. Может, я и не прав. Спасибо за все. Прощай, — с сожалением произнес Иван Иванович и вышел.

Над Крутцом курилась дымка. Со стороны мастерских пелся треск пускачей. Торжествующе орали петухи. Деловито перебирались через лужи люди. Все шло как и прежде.

Иван Иванович вышел на твердый еще, оледеневший зимник и пошагал в свой колхоз. В голове было пусто. И она болела. Но с каждым шагом ему становилось легче, словно он оставил в Крутце тяжелую ношу. Впереди были свобода и любимая работа. И мысли его постепенно переключались на колхозные трактора, на курсы комбайнеров. Невесело ему еще было, но и на жизнь обижаться не стоило.

Он остановился у вытаявших и уже подсохших куч гравия. Нашел ту злополучную, скинувшую его с мотоцикла. Сел на нее, огляделся, пытаюсь представить, как произошла авария и по каким траекториям летели они с Севой... Он уже улыбался. Но в общем-то было еще тоскливо. И зло еще прорывалось:

«Ухажер нашелся! Первый жених! — ругал он себя.— Опозорился, а так и надо. Умнее будешь».

Он подпер подбородок здоровой рукой, затих, отдыхая от всего, и слышал, но не придавал никакого внимания тому, что со стороны колхоза нарастает стрекот мотоцикла. Он устал и сейчас не воспринимал отчетливо ничего.

Мотоцикл взревел и проскочил в каком-то метре от него.

— Здорово! — гаркнул Сева. Он с размаху бросил машину на соседнюю кучу, перепрыгнул через нее, упал перед Иваном Ивановичем на колени, обнял его, замер на мгновение. Иван Иванович оттолкнул его здоровой рукой, крикнул, отводя глаза.

— Болит? — участливо спросил Сева, заглядывая ему в глаза и кивая па забинтованную руку.

— Душа болит! — с вымученной улыбкой ответил Иван Иванович.

— Не получилось с Женей? — простодушно спросил Сева.

— Не получилось.

— Может, ты неправильно понял? Не сразу же... Может, еще заход надо сделать? Я помогу!

— Не-ет. Все ясно.

— Да-а,— разочарованно сказал Сева.— А я рассчитывал. Оказывается, плохо мы знаем своих людей.

— Плохо,— подтвердил Иван Иванович.

— Что же делать-то теперь, а? — вслух думал Сева.

— Жить надо. В жизни не одни радости да победы. Случается и другое — рассудительно сказал Иван Иванович.

— Это верно. Только утешения в такой философии мало.

— Тоже правильно,— снова подтвердил Иван Иванович. Он нехотя встал, расправил плечи, взмахнул здоровой рукой. И вдруг хлопнул Севу по плечу, заговорил громко и азартно:

— Думаешь, на меня все это подействовало? Нет! Кем был, тем и останусь. Представь, как бы я жил, за кого бы себя считал, если бы после всех этих передрыг распустил бы юни, ударился бы, к примеру, в пьянку или побежал бы в веселые городские места, или за жепой увязался бы? Кем бы я тогда был? Тряпкой я был бы и слякотью. Пропал бы бесследно. Но нет, братец. Никуда я не побегу. И не запью. Приду в колхоз и наброшусь на работу. У меня уж и так руки чешутся. Сделаю еще кое-что! Может быть — и немало. И буду иметь право на человеческое звание. И на инженерское тоже. А другие пусть думают обо мне что им угодно. Пусть болтают.

— Конечно! Да никто и не болтает. Нечего болтать! — вскрикнул Сева, зараженный пафосом речи Ивана Ивановича и готовый снова мять его в объятиях.

— Постой,— остановил его Иван Иванович. — Дай высказаться до конца. Немного осталось. Так вот. Чтобы сжечь все мосты, возьму и женюсь на первой деревенской девчонке... которая поправится и согласится. А ведь среди них очень неплохие есть, видел. Народим детей. А с ними, знаешь, с места не вдруг стронешься. Никто жилья для них в другом месте не припас. Ловко придумано?

Иван Иванович словно и ростом стал выше. Или это казалось оттого, что он стоял на куче? Сева, глядя на него, раскрыл от восторга рот.

— Деревенские девчонки и хозяйственнее, и вообще... — мудро сказал Сева.

— Давно известно,— согласился Иван Иванович.

Сева завел мотоцикл, усадил друга и с величайшими предосторожностями, то и дело скользя сапогами по дороге, повез его к дому.

— Да поддай ты газку-то! — крикнул Иван Иванович. Но Сева не реагировал.

15

Чистяков вошел в кабинет Гайкина с таким видом, будто ничего не случилось и не отсутствовал он неизвестно где целых две недели.

— Здравствуй,— обычно и даже весело бросил он Гайкину.

— Здравствуй,— машинально ответил Гайкин и нахмурился. Душа у него заныла. Всплыл в памяти длинный

выговор, который сделало ему начальство по телефону. Трудно было и Гайкину, и начальству. В самом деле, кем считать Чистякова: командированным или прогульщиком. Но в командировку его никто не посылал, на работе его не было, а посчитай его прогульщиком — как на это взглянет высшее начальство, к которому ездил он с жалобой. Виновным во всем был признан Гайкин, потому что не сумел уладить конфликт на месте, смягчить ситуацию. К тому же теперь Гайкин знал, что областное начальство идеи Чистякова в принципе поддерживало, значит, должны с ними считаться и в районе и Гайкину надо перестраиваться. А как?

Гайкин теперь страдал оттого, что с его молчаливого согласия собранные Валерием узлы давно уже были разукomплектованы. И Гайкин молчал, хотя ему надо было кричать, бить по столу кулаком или бросить все и уйти куда-нибудь, чтобы отдохнуть, забыться хоть на пару дней. Но уйти было и нельзя и некуда. Да и не мог он себе позволить такое. А ближайшее будущее рисовалось ему таким мрачным, что лучше о нем и не думать. Валерий, казалось, понимал его. Глаза Чистякова смеялись, и он прикрывал их, стараясь быть серьезным.

— Ехал бы ты в Харьков, — вдруг по-дружески посоветовал он.

Гайкин подался вперед, на несколько секунд уперся в Чистякова побелевшими глазами и неожиданно звонко ударил ладонью по столу.

— Лучше бы тебе здесь не появляться! Ехал бы ты ко всем... — вскричал он. И сразу сник, потирая ушибленную руку и мучаясь, что так сорвался. Он почему-то вспомнил, как договаривались они жить дружно, на манер земских врачей или старых русских офицеров, говорить другу другу все честно, не орать... И в нем постукивала мысль, что Валерий как раз первым и нарушил уговор, поехал жаловаться, что он на месте Валерия никогда бы так не поступил. Но и за себя Гайкину было неловко. Красный, он стоял, опираясь руками о стол и думал, пробуя улыбнуться. Сказал:

— Я уеду, а ты здесь будешь командовать? Все перевернешь?

— Кое-что перевернул бы. Тут и мастерские-то надо новые строить.

— Это не нам решать.

— И нам можно. Работать так уж работать!

— Ох и сорвешься ты где-нибудь! И наломают тебе рога!

— Брось обо мне думать. Как с планом-то? — не без иронии спросил Валерий.

— Как всегда. Он сам собой не делается, — вздохнул Гайкин, не обращая внимания на издевку. Главное для него было сейчас — успокоиться, набраться твердости.

«Он сильнее, хитрей меня, хотя и прохвост, — подумал Гайкин. — Но если я поддамся ему сейчас — я погиб, перестану себя уважать, с работы уйду. Как же быть-то?»

— Узлы твои мы разобрали, — сообщил он.

— Я этого ожидал, но отвечать придется тебе, — так же спокойно сказал Чистяков и добавил с легкой горечью: — Убиваешь ты меня.

— А ты — меня.

Чистяков в раздумье прошелся по кабинету раз, другой. Сел перед столом Гайкина, спросил тихо:

— Скажи откровенно, прав я или нет со своей затеей?

— Формально — прав, — выдал Гайкин с трудом.

— Тогда ты не прав!

— Нет, и я прав, — тоскливо возразил Гайкин. — Ты пойми. Приказали мне внедрять это новое, но и план оставили тот же. Его надо выполнять. Люди на премию нацелены. Они ее заслужили. А займусь я этим твоим новым — ни плана, ни премии нам не видать. И узлов твоих, между прочим, не будет. Изобьет нас начальство — вот и весь результат.

— Я бы на твоём месте не боялся. Не так страшен черт. Сумел же я сделать кое-что!

— Удивляюсь я на тебя глядя. Я бы на твоём месте не только не позволил себе об этом мечтать, а вообще бы сюда не вернулся. Тебя тут били, а с тебя как с гуся вода. У тебя же с народом конфликт. Ты же в пекло лезешь!

— Предлагали мне в сельхозтехнике место, дали время подумать, — с нарочитой твердостью и не без удовольствия тотчас ответил Валерий, словно ждал этого вопроса. — Но за кого бы я себя считал, если бы струсил вернуться?

— Да, — только и сказал Гайкин. Он помолчал, лицо его пошло красными пятнами, спина одеревенела. Гайкин готовился сказать то, о чем догадался только сейчас. Он еще не знал, прав ли, но желание чем-то отомстить Валерию за все неприятности победило.

— И все же ты дрянной человек, — проговорил он, чуть ли не стуча зубами от волнения и неожиданной решимости. — Ты и за новое борешься не столько ради пользы дела, сколько ради саморекламы. Ты честолюбив — это, может, и неплохо, но печестен — и это скверно. Очень. Я бы не хотел с тобой работать.

Чистяков резко откинулся к стенке и побледнел. Он ждал, что Гайкин может злиться или брызжать, или, сникнув, снова примириться с ним... Случилось другое, самое неприятное. Гайкин разгадал его. Хорошо еще, что не все он знает о нем, о его самовольной отлучке...

Валерий понял: надо как-то замять эти слова Гайкина, чтобы забыл о них и сам Кирилл Кириллыч. Ведь он, вечно сомневающийся и робеющий, наверняка не очень-то в них уверен и уже жалеет, что не сдержался. Валерий принужденно улыбнулся, заставил себя захохотать и отметил, что получилось это достаточно натурально.

— Ну, старик, — сквозь смех, даже вытирая будто бы подступившие слезы, заговорил он. — Ну, уморил. Да ладно уж, переубеждать тебя не буду, по согласен с тобой лишь наполовину. Честолюбив — да. А остальное у тебя, прости, от расстроенного воображения, от обиды. Брось.

Но Гайкин ушло молчал, поглядывая в окно, и Чистякову надоело притворяться. Он понял — с этого дня они враги. И теперь надо думать, как вести себя в новой обстановке. Он не ожидал от Гайкина такой решимости, считал, что как враг Гайкин заранее обречен на поражение. Но теперь... Теперь черт его знает, что он еще может выкинуть. Возьмет и пойдет с этими словами в райцентр, да еще Севу своего подключит... И пойдет слух, и испортит он весь накопленный Валерием авторитет. И подумает тогда отдел кадров: а не рано ли приглашать инженера Чистякова в аппарат управления сельхозтехники...

«Удар надо упредить», — решил он и глянул на Гайкина с откровенной злобой, как бы говоря: ты, мол, Гайкин — большой дурак, невежа, и за это скоро заплатишься. А Гайкин все отводил глаза.

Так и сидели они, пока Гайкина не позвали по срочному делу в мастерские.

Парой фраз они перебросились лишь дома.

— Предлагаю, — деревянным голосом проговорил Валерий. — Я буду просить о переводе отсюда, но с условием: ты обо мне нигде плохого слова, а я — о тебе.

— Я не сплетник,— буркнул Гайкин, уверенный в том, что не сдержит Чистяков и этого обещания.

16

На другой же день Чистяков позвонил в сельхозтехнику, и ему сказали, что из Крутца его отзовут очень скоро. Двойственное чувство раздирало его. Ему и льстил перевод в райцентр, и в то же время он понимал, что в Крутце провалился, а в райцентре осторожное начальство, весьма похожее на Гайкина, как он успел заметить, не даст ему развернуться со своими планами. Его разбирало зло. Он ловил себя на том, что готов изломать все, что попадетсся ему под руку в этом опостылевшем Крутце.

Шли дни. В райцентр его не вызывали. Звонить еще раз не позволяла гордость, и он уже начинал ненавидеть свое новое районное начальство. К тому же надо было ходить на работу в мастерские, где, по его мнению, царил содом. Трудно жилось Чистякову в эти дни.

Гайкин же с шутками — по мнению Валерия, глупыми — и незлобной, тоже глупой, руганью легко разбирался в суматохе и оставался в сущности спокойным. Ему было не впервой. А Чистякова авральная неразбериха бесила. Особенно разбирало зло оттого, что многое в мастерских делалось — и очень неплохо — без его участия и ведома. А кое-что становилось и вовсе непонятным.

Ему казалось, что окрестные колхозы и совхозы только в самые последние дни перед севом вспомнили о своих машинах, вспомнили все сразу. Он понимал, что все машины к посевной должны быть отремонтированы, знал, что сделать это невероятно трудно, даже невозможно, и потому не мог видеть неожиданно беззаботные скалозубые лица колхозных уполномоченных и трактористов. Его выводили из себя эти спокойные лица людей, ему казалось, что они знают что-то такое и уверены в чем-то таком, что вовсе неведомо ему.

Перед Майскими праздниками Гайкина вызвали в райцентр. К праздникам он намеревался вернуться: некому было, кроме него, выступить в клубе с докладом, проследить за порядком в поселке. Но к сроку он не прибыл: задержало начальство, посчитавшее, что Гайкин достоин быть участником районных торжеств.

Кирилл Кириллыч не ослушался. Он вызвал к телефону Чистякова и долго втолковывал ему о важности месячного отчета, который, будучи представленным в срок, должен еще неоспоримо доказать право крутецких ремонтников на солидную премию.

К полудню последнего перед праздником рабочего дня Валерию принесли сводку. Каждая графа в ней прямо-таки кричала об огромном перевыполнении плана.

— Вот она, премия, — процедил он, вчитываясь в цифры. — Ждут ее, как дар божий. Добились... И Гайкин отхватит денежку. А мне шиш покажут, беглецу. Не представит меня Гайкин, это точно.

Мстительное решение все отчетливее созревало в нем. Он снял трубку, вызвал сельхозтехнику, заставил себя быть твердым и продиктовал далекому статистику совсем не то, что было в сводке.

— Вам телефонограмма, — сказала, помолчав, телефонная трубка. — Сразу после праздника прибыть к месту новой работы. Подписал управляющий. Как поняли?

— Понял! — крикнул Валерий. — Прибуду!

Он похлопал в ладоши, сделал несколько скачков по кабинету и сразу придумал, как оправдаться за перевернутую сводку: передавал впервые, может, и не из той графы цифры попали, может, статистик его не понял, да и слышимости почти не было.

17

На Гайкине лица не было, когда он появился в Крутце.

— Кто готовил сводку? Кто передавал? — загремел он с порога конторы.

— Чистяков передавал, — сказали ему испуганные бухгалтерши.

Гайкин рванулся в свой кабинет. Валерий поднялся из-за стола, освобождая место, но Гайкин и не думал садиться.

— Что за цифры ты передал?

— Мне дали, я передал, — спокойно ответил Валерий, внутренне улыбаясь и призывая все силы, чтобы до конца сыграть роль аккуратного исполнителя, удивленного невежливостью начальства.

Гайкин застонал, сорвался с места, но ему уже несли сводку. Он впился в нее глазами.

— Ничего не понимаю, — растерянно проговорил он. — Здесь все так, как и должно быть!

— А что, разве ошибка? — разыгрывая удивление, спросил Чистяков. — Слышимость плохая была...

— Ты сознательно переврал цифры, — хрипло сказал Гайкин. — Уезжай.

— Я уеду. Но ты меня обвиняешь в таком?! Докажи! — злобно подступил к нему Валерий. — Ты черт знает что обо мне думаешь. Брось бояться, что я займу твое драгоценное в кавычках место.

— Не в месте дело, — в отчаянии сказал Гайкин, хотя ему больше и не хотелось разговаривать с Валерием.

— Ну, передай цифры снова! Ведь ничего же не случилось! — подсказал Валерий.

— Поздно. Премия ребятам может хвост показать, — подавленно сказал Гайкин и перестал замечать Чистякова, который скоро понял, что ему лучше уйти.

Валерий бесцельно бродил по улицам, стараясь все же быть там, где меньше людей. До поезда оставалось еще много часов, а собрать свои пожитки он мог в пять минут. Надо было подумать, разобраться хотя бы в том, кем себя считать — победителем или побежденным. Пожалуй, он победил. Он выбирается из этой дыры, начальство считает его инициативным, знающим, но не понятым в Крутце или попавшим не на свое место. Это хорошо. Но почему у победителя нет радости? Почему противно на душе? Или потому, что он все еще в Крутце? Или потому, что пришлось здесь сработать кое-что не чисто? Но почему — не чисто? Все ладно и для пользы дела. И узловой метод, и секретарство в комсомоле, и кружки... Вот только со сводкой... Но это уж Гайкину подарочек, чтобы знал, с кем дело имеет. Нет, все правильно. Надо бы еще Севе чем-нибудь испортить розовое комсомольское настроение...

Валерий оказался возле медпункта и замедлил шаги. «С медичкой надо проститься изысканно, как тогда на танцах. Она меня или ненавидит, или любит. Прощусь. Пусть потом голову ломает, почему я с ней так... — с улыбкой подумал Валерий и остановился. — А за что я с ней так? Ведь это же издевательство над беззащитным! Надо ли? — подумалось ему, и он решил: — Ладно, прощусь просто так, по-человечески. Она не во всем похожа на здешних. Пусть вспоминает меня хорошо».

Дороги еще не просохли, а Сева с прежним азартом носился по району, лужи и ухабы преодолевал с ухарским криком. Сева был силен и мог унести мотоцикл на себе, оттого машина слушалась его, не вырывалась из рук и не валилась набок в самых гиблых местах.

С весной Севу забудоражило еще больше. Он появлялся то в одном краю района, то в другом, увлекал за собой многочисленных друзей, провертывал мероприятие и исчезал, чтобы через пару часов появиться на новом месте. Не забывал он и Крутец, хотя сложных дел у него здесь теперь не было. Сюда он заглядывал на минутку: узнать новости, перекинуться парой слов с Гайкиным, проинструктировать Женю...

В этот раз он мчался от Ивана Ивановича. Встречи с маленьким инженером всегда поднимали ему настроение. Да и общего у них, как считал Сева, было много.

Он ехал с улыбкой во все лицо и думал о друге. Успокоился Иван Иванович, посмирнел, похудел, но работает за троих. Председатель его чуть на руках не носит. И вообще все его любят. Просто удивительно. Деревенским девочкам начал подмигивать — так должно и быть. И вроде не грустит о сбежавшей супруге, о медичке не вспоминает. Золотой характер!

— Когда жениться-то будешь? — спросил его Сева напрямую.

— Да все недосуг, однако присматриваюсь, — откровенно сообщил Иван Иванович. — Женюсь, паверное. Жить — так уж жить, на полную мощность!

— Снова не промахнись, — осклабился Сева. — Со мной сначала проконсультируйся. Я тут всех поголовно знаю.

— Оттого и не спешу, что уже нажегся, — толковал Иван Иванович.

— А ты, я гляжу, счастливый человек, крепко на земле стоишь. Одно слово — крестьянин, мужик! — восхитился Сева.

— Без крестьян нельзя. И крестьяне теперь ой-ой-ой какие нужны! Ради этого и тружусь, — толковал Иван Иванович.

Сева ехал и радовался отличной погоде. Иван Иванович — в порядке. Впереди Жепа — тоже в порядочке. Сейчас он к ней заскочит на момент...

Был светлый вечер, когда Сева взбежал на крыльцо медпункта. Женя встретила его, как всегда, без удивления и особенной радости, улыбнулась слегка и стала ждать, с чем он приехал. Но Сева вроде забыл, что он инструктор.

— Нехорошо! Нехорошо! Такого жениха упустила, — комично выговаривал он. — Ну чем он тебе не пара? Не пойму. Ох и пожалеешь ты, что так с ним обошлась. Он же золото! Я мужик, а и то в него влюбился. А деревенские девчонки за ним — косяком. Там такие есть — закачаешься! Я уж чувствую, что недолго ждать свадьбы. Ох и попляшу я! А ты в этот момент будешь сидеть и кусать локотки, а то и реветь. И так тебе и надо!

— Что-то уж очень быстро он влюбляется... В одну, в другую. Тоже, наверное, зазнайка вроде Чистякова. Плохо они кончат, — в сердцах сказала Женя и добавила поостроже: — А ты на такие темы со мной больше не разговаривай. Про это не треплются.

— Ну! Сразу и надулась! — Сева скорчил уморительную рожу. — О чем же говорить-то? Уж и пошутить нельзя... А меня и личные дела комсомольцев должны интересовать.

— Перестань, — попросила Женя, хмурясь и кусая губы. Она отошла в дальний угол прихожей. В комнате было сумрачно, но ни Женя, ни Сева не думали, что пора бы включить свет.

— Все равно развеселю! — азартно заявил Сева. Он подскочил к ней, обхватил за талию, щекотнул. Женя вздрогнула, резко повернулась к нему, сказала с негодованием:

— Пусти!

Сева беззвучно хохотал...

— Все понятно! Идет инструктаж, — раздался за ними иронический голос Чистякова. Севу отбросило. Женя ахнула и закрыла лицо ладонями. Она понимала, что сейчас лучше бы притвориться веселой, разыграть шутливую возню с Севой, чтобы не было у Чистякова повода думать о них грязно. Понимала и ничего не могла поделать с собой. Ей опротивел простодушный прилипчивый Сева. Ее раздражали напоминания об Иване Ивановиче. Ее возмущало, что все эти молодые люди, считающие себя интеллигентными, присвоили себе право вторгаться в ее жизнь, выспрашивать, требовать откровенности. Почему

они считают, что с ней так можно? Она же не давала повода... Она... Женя всхлипнула.

— Инструктирование до слез, — констатировал Валерий, улыбаясь и словно бы приглашая улыбаться и других. Необычность обстановки в медпункте сбילה его с толку, и он забыл, с какими намерениями шел сюда.

Сконфуженный вид Сева, слезы Жени почему-то порадовали его.

— Как же это так, товарищ инструктор... — заговорил он и не закончил убийственной, по его мнению, фразы.

Сева шагнул к нему и ударил, замахнулся еще раз, но Женя, закричав, схватила его за руки.

Чистяков понял, что самое опасное — позади, и обрадовался своей выдержке. Он не унизился, не ввязался в драку.

— Извините, — сказал учтиво и вышел твердой походкой, вздернув голову.

«Как же я дошел до того, что меня бьют? — подумал он. — Это же позорно. Где я ошибся?»

Лицо побаливало. В голове складывались и рушились мстительные планы. Валерий быстро шел к дому Гайкина. До поезда оставался час. Валерий не слышал, что за ним спешит растерянный Сева и вздрогнул нервно, когда Сева схватил его за рукав.

— Извини, — проговорил Сева. — Давай на мировую выпьем. Я куплю.

— Я на тебя не сержусь, — ответил Чистяков, высвобождая руку и становясь увереннее. — На таких сердиться смешно.

— Да брось ты! Вижу, что злишься, — не отставал Сева. — Ну дай ты мне... чтобы квиты были.

— Забудь. И я забуду. Но встречаться с тобой не хочу, — твердо сказал Валерий, и Сева понуро отстал.

Валерий без слов собрал чемодан, погляделся в зеркало: губы почти не вспухли. На всякий случай, он тщательно умылся и, сухо попрощавшись с Гайкиным, пошел на вокзал.

Едва за ним захлопнулась калитка, как из-за угла появился Сева и юркнул к Гайкину.

— Я ударил Чистякова,— с порога заявил Сева.

Гайкин медленно выпрямился.

— За что?

— Он, гад такой, заявил, что у меня с Женей...

— Что у тебя с Жепей? — перебил его Гайкин чуть громче, чем следовало бы.

— Ну... мерзость он подозревает... и язык распустил.

Гайкин недобро глянул на Севу, и тот понял, что надо что-то рассказать и оправдаться.

— Дурачились мы с ней... как всегда. Развеселить я ее хотел...

Гайкин был бледен. Он долго глядел в честное лицо Севы, пока не подумал, что старый друг, пожалуй, не лжет. Но полной уверенности не было, и Гайкипу стало нестерпимо досадно.

— Надо бы его проводить,— сказал Сева.— Смягчить бы все как-нибудь, а то народ подумает...

И Гайкин подумал, что надо бы проводить Чистякова. Он теперь начальство. Хоть и не очень хочется провожать, а надо. Гайкин уже не раз думал, что со сводкой Валерий напортачил без умысла, тем более что премию все же удалось выбить. Он уже во всем готов был винить себя и готовился к новым выговорам. Ему даже захотелось потолковать напоследок с Валерием обо всем по душам, чтобы и самому лучше все понять и чтобы Валерий забыл свою злость. Но как с ним поговоришь? А тут еще Сева набезобразил не к моменту...

— Пойдем,— предложил Гайкин.

...Валерий стоял в темном углу перрона и курил.

Друзья подошли к нему. Поезд уже был слышен.

— Не поминай лихом,— примирительно сказал Гайкин.— Помоги Крутцу в случае чего. Не забывай нас.

— Не забуду,— сказал Валерий, отворачиваясь от Севы, который тоже порывался что-то сказать.

— Ну, до свидания.

Гайкин протянул руку. Валерий вяло ответил па его крепкое рукопожатие.

— Жаль, что так вот всё...— говорил еще Гайкин, но Чистяков уже заметил свой вагон и уцепился за поручень. Он легко бросил свое тело в тамбур и скрылся в его темноте.

— Все,— с сожалением сказал Гайкин.— Мог бы дело делать, а теперь зароется в свои бумаги...

Сева молчал. Он все еще страдал, да и сказать Чистякову ничего не успел. Он ругал себя и был бы рад, если бы кто-то взрослый выдрал его за уши.

Поезд пошумел и смолк. Друзья задумчиво стояли на пустеющем перроне.

— Все,— еще раз сказал Гайкин.

«Заложит меня этот гад Чистяков,— обреченно подумал Сева.— Теперь я у него в руках». А вслух сказал:

— Может, это и лучше для Крутца?

— Не знаю...

— Пожалуй,— согласился Сева.— Тут без тебя труба дело будет... А и скверно же на душе! Так бы и выпил. Залил бы все. Забыл бы хоть на ночь!

— Я тебе сейчас залью! — сказал Гайкин.

— Что? Бутылек в заначке есть? — обрадовался Сева.

— Есть у меня для тебя пара ласковых! — жестко проговорил Гайкин.— Если ты едешь сюда, чтобы приставать к Жене, чтобы руки свои распускать, то не едь. Обойдемся без тебя. Сам все собрания организую.

— Да ты что! — изумился Сева и покраснел.

— А то! — Гайкин говорил уже со злом.— То, что ты не мальчик-охальник на гульбище... Еще раз услышу — в райком сообщу и попрошу, чтобы тебя сюда больше не пускали.

Гайкин развернулся и пошагал к дому.

— Ну, я ничего не понимаю,— обиделся и Сева.

— Если ничего не понимаешь — уходи с этой работы.

— Да что ты от меня хочешь? Скажи! Нельзя же так! — недоумевал Сева.

— Хочу, чтобы ты сию же минуту убрался из Крутца. Видеть тебя сегодня не могу.

— Пожалуйста! — заявил вконец разобиженный Сева.

Они разошлись не попрощавшись. Гайкин минут пять стоял под окном и пошел домой только после того, как мимо него с фырканьем пронесся Севин мотоцикл.

20

Гайкин зашел в свою квартиру и почувствовал, что в ней кто-то есть. Он тотчас включил свет и встретился с горячими, заплаканными глазами Жени.

— Ты, Женя?

— Я.

— А что... случилось?

— Не могу я так больше, Кирилл,— сказала она.— Поговорить нам надо. Извини, что без предупреждения и поздно...

— Да что ты! Я рад! — поспешил успокоить ее Гайкин.

— Где Чистяков-то? — спросила она с тревогой.— Надо бы посмотреть его... У Севы же силища...

— Уехал он. Нам двоим тут, видимо, не ужиться,— грустно сообщил Гайкин.

— Нехорошо получилось... А наверное, правильно,— проговорила Женя.— Не тот он человек...

— Мог бы работать,— терзаясь, сказал Гайкин.

Женя помолчала.

— Я и Севу вытурил,— похвастал Гайкин.— Парень чувство меры теряет.

«Молодец какой Кирилл,— подумала Женя.— Меня не упрекает, хотя знает все. И сказал так, будто недоволен Севой только из-за драки. Тактичный... Да он и во всем такой».

Гайкин сел напротив, почти касаясь лбом ее лба, загляделся в ее лицо.

— Устала я... от всего,— тихо сказала она, жалуясь.

— Пройдет,— утешающе проговорил Гайкин.— Больше тебя никто обижать не будет. Спокойнее станет в Крутце.

Женя с новым интересом глянула на него.

— Ты какой-то не такой стал,— сказала она.— Вот как командуешь!

— А я тоже устал от некоторых... Надоело любоваться на них.— Откровенно и даже с отчаянностью заговорил Гайкин.— Мне же тут за все отвечать, а не гастролерам. И я не глупее их. И никто за меня тут порядка не наведет. Вот я и развязал себе руки.

Женя слушала его уже без грусти. Перед ней был другой, похоже, интересный и сильный мужчина. И то, что он честен, она знала давно.

— Я и за тебя должен быть в ответе,— увлекшись, высказывался он. На лице его застыла мягкая улыбка, а лоб озабоченно морщился. Его очень обычное лицо сделалось вдохновенным и красивым. Такой Гайкин нравился Жене — понятный, свой.

А он говорил и говорил, не замечая, что забыл свои правила. Ведь перед ним сидела женщина, недавняя девчонка, никакая не родня, а он выкладывал перед ней начистоту все, что накопилось в душе. Женя слушала его и все-все понимала. И ничего не было в ней такого, что настораживало раньше Гайкина.

Они говорили каждый о себе, друг о друге и не удивлялись, а тихо радовались тому, что все так хорошо и одинаково понимают, будто давно жили вместе. А когда спохватились — было уже раннее утро, и выходить из квартиры Гайкина в такую пору Жене было неприлично. Да и расставаться им не захотелось... Они и не расстались.

А днем Гайкин, сидя в своем кабинете, впервые занимался не служебными, а личными делами. Он писал письма.

Послал приглашение на свадьбу Севе.

После недолгих раздумий сочинил приглашение и Чистякову.

Управляющему райсельхозтехникой он выслал план мероприятий по перестройке работы своих мастерских, где были пункты о строительстве нового помещения и внедрении узлового метода ремонта.

После этого Гайкин облегченно вздохнул и переключил свои мысли на план текущего месяца.

Рассказы

Привычка

В дверь кабинета начальника строительной механизированной колонны Виктора Викторовича Серебрянского постучали. Легонько, по-свойски постучали. Виктор Викторович глянул на часы — девяти утра еще не было. Значит, его хотел видеть кто-то из небольшого круга подчиненных, которые, по примеру начальника, приходят на службу пораньше. Поэтому Виктор Викторович остался стоять у окна, руки в карманах брюк — своих работников можно было принимать без церемоний.

Но вошла Тамара, новая заведующая плановым отделом. Виктор Викторович выдернул руки из карманов и изобразил покровительственную улыбку, этакую улыбочку бывалого начальника перед лицом девчонки, только что окончившей техникум.

Тамара опустила глаза и слегка закусила губки. «Доходят сигналы, что строгая, своенравная девица, — коротко подумал Виктор Викторович. — Притрется ли? Надо притирать». Он погасил улыбку и стал привычно озабоченным.

— Ну, что там у нас? — спросил он и снова улыбнулся, теперь уже с усталым видом. Он не хотел показывать Тамаре, как демонстрировал это перед старыми испытанными работниками, что служба надоела ему до отвращения. Он считал, что Тамара должна вынести из кабинета начальника заряд бодрости и желание трудиться еще лучше. Но небольшую личную усталость перед концом года скрывать было незачем и перед ней. Пусть знает, что нелегко дается годовой план, призовые места и премии, и пусть сама увидит, что и ей пора бы побольше загружать себя.

— Двести тысяч не хватает,— сказала Тамара, вздохнула и подала начальнику листок со столбиком цифр.

— Предполагал...— не удивился Виктор Викторович и забарабанил пальцами по толстому стеклу, прикрывающему его стол. Быстро прошелся глазами по цифрам, считая в уме, посоображал что-то про себя.

— Ваши предложения? — он глянул испытующе на молодого плановика. И опять улыбнулся, в полной уверенности, что ничего толкового девчушка еще не скажет.

— Производственники отчитываются, а мы плюсуем,— живо заговорила Тамара, давая понять, что предложить она ничего не может.

— Удивила! — с усмешкой перебил ее Виктор Викторович. И вдруг подмигнул ей.— А может, правильно намекаешь?

— До меня не один квартал так закрывали,— поостроже сказала Тамара.— Сами себя и других обманываем.

— Какие слова! — воскликнул Виктор Викторович и осуждающе покачал головой.— Какие обличительные слова!

Тамара вспыхнула и крепче сжала губы. «Она права. Пора бы нам поразнообразнее быть. Но как? Где выход?» — напряженно думал Виктор Викторович и барабанил пальцами. Пальцам наконец стало больно, и от этого он почувствовал неприязнь к этой прямолинейной девчонке. Заговорил он тоном обиженного, издерганного человека.

— Строгие у тебя слова. Как будто и не наш ты работник, а ревизор со стороны. Но ты быстро поймешь и увидишь, что иначе нельзя. Такова судьба строителя. Крутишься, треплешь нервы все двенадцать месяцев, а за неделю до конца года выясняется, что план трещит. Вот... Двести тысяч... Ничего себе, хвостик. Из последних сил выбивались, а в итоге... В итоге готовься слушать критику со всех сторон и молчать. Будто и не работал, жилы не рвал. Ты же работаешь, ты же и виноват остаешься. И премия улыбнулась. И мне, и тебе, Тamarочка, и всему коллективу.

— Да ты не виновата еще,— смягчившись сказал он лично Тамаре. Он увидел, что лицо ее пошло красными пятнами и что она, возможно, принимает по неопытности все это в свой адрес.— Тебя я не упрекаю. Будем думать. Иди, Тamarочка...

Тамара словно только этого и ждала. Она резко повернулась, выскочила за дверь. Виктор Викторович сразу забыл о ней и о том холодке, который вызвала она только что в его душе. Не стояла еще того Тамара, чтобы о ее персоне и о ее мнении всерьез думал бывалый начальник механколонны Серебрянский.

Глаза Виктора Викторовича остановились на календаре.

— Пять дней, — с расстановкой проговорил он. — Пять дней и двести тысяч. Ничего реального...

Он нахохлился за столом. Ничего наигранного уже не было на его лице и во всей позе. Задумался начальник. Так прошло минут десять.

— О-хо-хо! — протяжно вздохнул Виктор Викторович. И удивился, что прозвучало это у него так же горестно и жалостливо, как когда-то охал его отец.

Став начальником, Виктор Викторович научился слушать себя как бы со стороны. Он был уверен, что такой личный контроль здорово помогает ему держать себя в нужных рамках. Ничего расслабляющего, лишнего в своем голосе при солидной по числу людей аудитории он уже не позволял. И ни одного лишнего слова. Только деловые, четкие, мобилизующие выводы. А вот так, как разговаривал сейчас с Тамарой, то есть не скрывая, что все ему поднадоело, что работа не всегда чиста, а нередко и неблагодарна — так он разговаривал лишь с доверенными подчиненными, да и то с глазу на глаз. Разговор получался человеческим, доверительным, и Виктор Викторович не в шутку считал, что за такую манеру подчиненные уважают и любят его. Да так оно, пожалуй, и было. После подобных бесед люди понимали его лучше и работали энергичнее, делая дело так, как хотел Серебрянский. Многим казался начальник и бесхитростным и незаносчивым. Но себя-то бесхитростным Виктор Викторович видеть не хотел. Он даже был твердо убежден, что нельзя быть бесхитростным руководящему работнику, ибо в противном случае получится простота, которая хуже воровства...

А с чего бы вспомнился ему отец? Вот и еще что-то, кроме этого «о-хо-хо», на языке вертится... Да, вот оно: «Эта привычка к труду благородная»... Любимая отцовская фраза. Нравоучительно произносил ее батя. Считал, что у него-то эта привычка есть... Виктор Викторович тихо хохотнул и сразу прикрыл рот ладонкой. Прочь воспоми-

пания! Не до смеху. Да и прав отец. А он, Виктор Викторович, разве не трудится всю жизнь? Он ли не привык к работе? В кровь въелась эта привычка. О рабочем дне и говорить нечего. Но ведь даже утром и вечером, в кругу семьи или друзей — не идут из головы дела служебные! По ночам снятся эти проценты, реформы, этапы, объекты... Нервишки сдают. На износ работает... У него бы многим надо учиться работе... Помогать бы ему надо...

Однако к дьяволу эту лирику, беллетристику! Главное — дело, а не мечтания. Пусть они будут приятные, восхитительные, чистые, но все же мечтания — это нуль. Даже не нуль, а хуже, отрицательная величина, поскольку отвлекают от дела. Основное — это дело. И самое лучшее дело — это то, которое уже сделано. Так сделай его!

— Тьфу! — ругнулся вслух Виктор Викторович. — Что за утро сегодня? Не лирика, так философия заела. Пора кончать. Всё.

Он положил руку на телефонную трубку, и сразу же его большое мягкое лицо одеревенело, сузились глаза и стали холодными. Наверное, такие глаза бывают у хищника перед прыжком на свою жертву. Он прижал трубку к уху плечом, набирая номер, услышал отклик и приказал телефонистке далекого коммутатора: «Найдите мне председателя. Говорит Серебрянский». Председатель нашлся быстро. «Здорово, Михалыч, здорово, главный ты мой заказчик — партнер по славным строительным делам, — будто радуясь, басил Виктор Викторович. — Я к тебе с хорошими вестями. Титул на предстоящий год видел? То-то. Опять мне в твоём колхозе все силы придется держать. Что? Рад? Еще бы тебе не хлопать в ладошки! Приедет добрый дядя в моем облике и весь колхоз тебе заново отстроит. Ха-ха! И я с тобой вместе радуюсь, старина. Ладушки. Будет тебе и свиноферма, и клуб, и двенадцатиквартирный. Я знаю, что ты денежный. Что? Нынче-то плохо строим? Как плохо? Креста на тебе нет? Нанимай тогда шабашников. Не будешь? Правильно. И мы неплохо работаем. Считаем, что девяносто процентов готовности есть. Что? Да ты будущему, перспективе нашей и своей радуйся! Что ты про недоделки... Ну чего расшумелся-то? Ну иди, жалуйся. И ставь крест на клубе, на свиноферме, на двенадцатиквартирном... А недоделки доделаем. Не было случая, чтобы нас не обязывали их доделать. Да неужели их так много? Врешь!.. Ну, хочешь

я сам приеду... Сегодня... А чего откладывать-то, Новый год на носу. Акты на сдачу прихватю... Не подпишешь? Не телефонный разговор... В общем, еду, а ты готовь перечень недоделок. Что? На двести тысяч? Так ведь это нам раз плюнуть! Не плюнуть?.. Я бы на твоём месте, Михалыч, не терял с нами дружбу. Что? Вынужден не терять? То-то. Хорош или плох, но друг. Тем более что другого нету. Еду. Что? Другие дела у тебя? А разве капстроительство — не дело?.. Вот именно, главная боль... Через два часа буду».

Виктор Викторович положил трубку и зажмурился. Надо же, ведь он вот сейчас почти решил такое большое дело, уговорил (изнасиловал, конечно) этого упрямого председателя, а радости нет. Ведь теперь же годовой план, призовое место и премия в кармане! А на душе скребет... Дряблый человек. Вечно с переживаниями, с самобичеванием... А зачем, спрашивается? Зачем эти пустые мўки? Не он первый... Да и не все ли равно, когда в колхозе будут достроены нынешние объекты, завтра или через месяц. В историческом плане это нестоящие внимания пустяки.

Виктор Викторович вызвал шофера и приказал ему готовиться в рейс, в колхоз «Россия». Исполнительность шофера, всегда заправленный «газик» обычно поднимали его настроение. И сегодня что-то колыхнулось такое в душе, теплое и энергичное, когда вошел улыбчивый и ухватистый шофер, в любую минуту готовый везти начальника хоть к черту на кулички. Колыхнулось... Но как-то слабее, чем раньше... А в целом, скверно было на душе. И это противное чувство заслоняло собой все.

* * *

«В самом деле, откуда этот неприятный осадок, будто с большого похмелья или от изжоги? Старею, что ли? — подумалось Виктору Викторовичу. — Так ведь годы еще не те, чтобы... Еще сорокá нет, тридцать девять... Впрочем, и поизноситься можно на такой работе, будь она неладна. Не зря теперь и у молодых инфаркты... Строитель, конечно... Меняющий облик земли... Украшающий ее... Несущий радость... И самому б надо радоваться, как другие. Построили там что-то: баню, завод, дом — и лица праздничные... Тьфу! Опять мечтания, лирика-беллетристика. С таким настроением вопросы не решают. Да еще Тама-

рочке старые отчеты не понравились. Всем нравились, а ей... Отчеты эти, конечно, того, с натяжкой... Теперь самой ей придется делать такой отчет... Пусть постигает...»

«Газик» пружинисто мчался по снежной дороге. А дорога, накатистая, на удивление ровная,— искрилась. Даже в колеях сияние. Что за снежинки такие!.. Наваливаются на них тупые резиновые колеса, подминают под себя, давят без пощады. Тут бы и здорового человека в лепешку... А снежинкам хоть бы что. Искрятся, радуются... А ведь, поди, не искрились, погасли бы, если бы размолото их колесами в пыль. И должно бы размолоть... Ан нет! Удивительно.

«Опять поэзия... Привязалась муть...»

Устал, видимо, подрастрепал нервишки начальник мехколонны товарищ Серебрянский. Надо бы капитально отдохнуть. От всего. Катнуть бы к старым друзьям молодости, посидеть с ними за столом, пошляться по улицам знакомым, покупаться, похохотать, вспомнить юность золотую. Как-то там Серега живет, чем он может похвастать, чего достиг? Забыл свою глупую обиду или все терзается, чудак? Моргает теперь или все так и живет вытаращившись? Ха-ха! Сам виноват. Слабак, хоть и мастер спорта, кроссмен, лыжник и еще там кто-то — забыл уже. Девчонка акробатике учит, старшекласник, хватает их по-всякому, подбрасывает, на одной руке носит... Интересная работка. Ха-ха! Мне бы не выдержать. Ха.

«А это что за дрянь в голову полезла? Это и поэзии похуже. Тьфу! Надо переключать мозги».

Шибко катится рысистый «газик». Ошалело сияет снег. А на кустах вдоль дороги — что же это? Хрусталь или серебро? Или кружева вологодские? Красота, в целом! Иней. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Вот оказия! До чего прилипчива эта художественная литература. Хотя Пушкин, если вдуматься, очень многое тонко видел и понимал. Людей, главное, понимал, шельмец. Были у него задатки. Он бы, пожалуй, не только стихи писать, а и дело мог делать, руководить. Ой, нет! Из долгов не умел выпутаться. Не тот человек. Но все же! А что этот Серега? Сергунчик. Хорошо с ним было жить, свежо. У тетки Пани жили. Снимали комнатенку. Две железные коечки, какие сейчас на свалки выбрасывают отовсюду. Два жильца. Виктор Серебрянский — прораб УНР-7, управления наружных работ. Сергей Тугодумов — учи-

тель физкультуры. Первые парни по городу, первые женихи. Симпатичные, одетые оба прилично — это не отнимешь. Не без денег к тому же, зарабатывали. И выпивкой не увлекались — вот еще что главное. Хотя и других развлечений не лишка была. Не до них было в те дни золотой юности, потому что тянули оба тяжкую лямку студента-заочника. Контрольные, сессии, практика, мало ли мороки! Это ведь не курсы кройки и шитья, а институты, высшая математика, сопромат... Однако выдержали молодые головы... Фанатик был этот Серега. Режим у него. Ха-ха! Хотя он и мне, заочнику Серебрянскому, своим примером много помогал. Подтягивал, организовывал. Это надо признать честно. Но ведь и не до абсурда же доходить! Бывало, еще сплю, а он уже на лыжах набегаются, ворвется в комнату — весь морозом пропах, на свитере иней, из-под шапочки пот льется. Ворвется и гаркнет: «Мороз и солнце, день чудесный!» Ему, хоть и вьюга на дворе, все равно день чудесный. Спасения от него не было. Но весело. Радостно, бодро так, по-молодому. По-телячьему... Но все равно хорошо. Интересно бы его повидать, вспомнить... Как-то он теперь...

Такой уж был человек, что ничего в нем не менялось. И довольно долго. Поставил себе задачу и бьет в одно место изо дня в день. Режим, нагрузки... На мастера по лыжам вытянул. Правда, на большие соревнования его не приглашали, но все же. Первый мастер спорта в городе. Это фигура. И довольно привлекательная. С ореолом. Девки его любили. Городское начальство к нему своих детишек приводило. Выправь, просило, им осанку и вообще укрепи, позанимайся с ними. Личных детей ему доверяли, самое дорогое, так сказать. Деньги предлагали за это. Не шутки. Любили его. Все любили. Надо же суметь сделать себя таким идеальным! Пожалуй, он и был идеальным. Пацанва за ним по пятам ходила. Подражала во всем. Даже походке. И вечно-то у него физиономия была с улыбочкой, мужественная такая, открытая... А мускулы! Надо же накачать себе такие шары!

Однако скис парень. А с чего началось? Переборщил. Сам себя испортил. Перетренировался. Он другим здоровье исправлял, а о нем подумать было некому. Заработал расширение сердца. Прощай, спортивная карьера! Здравствуй, околоспортивное существование. Голы, очки, секунды — да не твои. Осталось ему только хилых детишек вы-

правлять. И выправлял ведь. Карточки какие-то, как врач, вел на каждого. Сам графы чертил. Пульсы там, толщину бицепсов, объемы вдоха-выдоха. Добивался сдвигов. Умел. На этом и свою дипломную работу построил. Поддерживали его в институте. А как же! Опыт молодого энтузиаста с периферии. Очень интересно.

Допекла его эта дипломная. Надо же, сколько всяких талантов было в человеке, а не дал ему бог понимания красоты слога. До того плохо писал! Говорит — заслушаешься, а возьмется писать — с души прет: сухомытина, казенщина, через пень колоду. Начнет предложение исправлять, испишет всю страницу, а первую точку уже на другом листе ставит. Черт мозги сломит в таком сочинении. Не поймешь, о чем и сказать хотел.

Пришлось перетаскивать его через это препятствие. Лично Виктор Серебрянский переписал ему всю работу, почти сотню страниц, не шутка. Да не как-нибудь, а на-бело. Словно мальчик, ликовал этот Серега, когда брал чистые эти странички. Полюбуется, почитает вслух — красота! Тон изложения — серьезный, предложения и абзацы — в меру. Это только поначалу он спорил, каждую страницу и фразу с ним приходилось обсуждать, а потом увидел, что и спорить нечего, лучше во сто крат получается. Да и сроки его поджимали. Доверился Серега целиком и только умолял, чтобы побыстрее дело двигалось. Самого Серебрянского захватила такая работа. Самому через год диплом предстояло защищать. Интересно же. И для себя, и вообще. Серега, возможно, новое слово теоретикам и практикам преподносит. Да и помочь другу надо. В общем, вник в существо темы не хуже Серегоного. А как вник, так и увидел, что обещания, заявочки, данные в начале работы, были внушительные, а практические результаты, списанные с карточек, и следующие за ними выводы и рекомендации — мелочь и слабятина. Никакого открытия. Что это за итог шестилетнего мучения с хилыми ребятишками! Нет, не озорство и не пакостное желание подвести друга толкнули тогда Серебрянского на решительный шаг. Скорее, искреннее стремление помочь Сереге как следует, чтобы не было у него при защите никаких неувязок. Чтобы с блеском прошел диплом.

А что для этого надо было сделать? А просто подправить легонько данные в этих карточках. Небольшие коррективы. И начал. Во вкус вошел быстро. Может, и пере-

гнул палку малость. Получилось в дипломной, что детишки с врожденным пороком сердца в Серегиных руках преобразались в спортсменов-разрядников. Сам Серега занимался лишь описанием сделанного, а теперь это описание было выправлено до уровня научного звучания. Тут уж и вывод сам собой напрашивается: лыжи — целебное средство для всех, у кого порок сердца и еще разные другие хвори.

Вывод писался в последние минуты, когда Серега бегал по комнате и укладывал свой чемодан. На поезд Серега успел. В институте перечитывать свою работу ему тоже было некогда. Все свободные минуты пришлось потратить на то, чтобы найти такую машинистку, которая согласилась бы перепечатать диплом в течение пары дней, оставшихся до защиты.

Вернулся Серега через две недели. С институтским «поплавком», с корочками и без радости на лице. Поздравляют его по сто раз в день, а он только скажет спасибо, сомкнет губы и глядит в сторону, глазами не моргает. Начисто перестали у него глаза моргать. Как замерзли. И с Серебрянским заговорил он только день на пятый.

— Подлог, — говорит, — и позор.

— Да кто же будет проверять каждую дипломную? — честно изумился Серебрянский. (Ему и сейчас смешно об этом вспоминать было.)

— Им и без проверки стало ясно, — говорит Серега. — Намекнули на это. Головами качали.

— Однако диплом выдали?

— Выдали.

Вот и весь разговор. А глаза у него так и оставались замерзшими, словно подменили их. И в чужие глаза он не глядел. Серебрянскому даже нехорошо как-то стало, будто виноват в чем. Ну а если разобраться, то пустяк, даже с юмором.

А скоро и расстаться пришлось с Серегой. Он все в своей школе. А Виктор Викторович пошел на выдвижение в трест, в большой город. И вот уже не два и не три года возглавляет товарищ Серебрянский крупную мехколонну, выполняющую план...

— Не о том думаю, — ругнул себя Виктор Викторович. — Колхоз «Россия» на горизонте. Если сейчас не соберусь, не укреплюсь духом — не уломать будет этого Михайлыча. Зачем тогда и ехать...

Виктор Викторович собрал на лбу морщины, сделался озабоченным, почти злым.

* * *

Михайлыча он уломал. Тот морщился, но подписал все акты. Видимо, успел уже обдумать вопрос, пока Виктор Викторович ехал к нему. Виктор Викторович поначалу почувствовал горячую радость и облегчение, он толкнул Михайлыча, сухого староватого мужика в плечо. Крепко толкнул, под председателем даже стул подскочил. Но не среагировал Михалыч на искреннее предложение «обмыть» новостройки, и глаза у него, вроде как у Сереги, остановились, перестали моргать на время. Только и спросил:

— Когда недоделки-то устранишь?

— В январе всё подчистим,— горячо заверил Виктор Викторович.

— Это хорошо бы,— сказал председатель.

— Да куда тебе сейчас коровники? — удивился Виктор Викторович.— Хороший хозяин их осенью в строй вводит, перед стойловым периодом. Нельзя же сейчас животных гонять по снегу из деревни в деревню! Мороз.

Председатель в ответ только поежился, словно ему самому стало морозно от таких слов. «Обмывка» сданных-принятых объектов не состоялась. Виктор Викторович хотел было купить бутылочку по дороге к дому, чтобы не рушилась добрая традиция, да и раздумал. Настроение было неподходящее. Опять, как с утра, какие-то дрянные думы пошли. Так и подступал к сердцу нелегкий вопрос, отчего это люди при нем словно бы гаснут. Хоть Серега, хоть этот пред. Или вон еще отец, если поглубже в памяти покопаться. Впрочем, отец и без него... Но и с ним... Да сам батя и виноват...

Виктору Викторовичу казалось, что думает он о том, как успеть в оставшиеся дни чисто сделать все отчеты, придется или нет оставлять плановиков и бухгалтеров на сверхурочные, как отнесется к его благополучному отчету трестовское и еще более высокое начальство и как будет выглядеть в объеме премиальный фонд... А на самом деле в нем упорно перерабатывались воспоминания, в которых он то и дело выглядел человеком нечестным, злым и виноватым. Но перерабатывались картины прошлого так, чтобы полностью выгородить и оправдать его, поставить

даже в положение пострадавшего. Давно научился Виктор Викторович думать таким вот образом. Это успокаивало и даже выручало иногда. Вызвали как-то его в комитет народного контроля с отчетом за брак в строительных работах, так он там так выступил, так перевернул факты, что оказался во всем прав, хоть к награде представляй. А ведь кто же повинен в браке в первую очередь, как не он сам? По его распоряжениям все делалось. Вроде и чувствовал он краешком души, что надо бы долю вины взять на себя, а не стал. И правильно сделал.

Так вот надо же, какой достался ему батя. Истинно старого закала, самого крестьянского, кондового. По утрам вскакивал батя досветла и сразу злился, что спит еще вся семья. Сердито будил мать и кипятился, как самовар, если она говорила ему, что еще и печь затоплять рано, и пастух не скоро затрубит. Батя матюкался сквозь зубы и вылетал из избы, проклиная сонливую и ленивую семью последними словами. Он лихорадочно искал себе какую-нибудь работу на подворье, в загороде и делал все кидком-броском, скоро и нехорошо.

— Батько, ну чего ты колья-то мелко забил. Упадет огород через месяц. Переделывать будешь. Другие-то, умные-то мужики на года огороды ставят, а ты... — урезонивала его мать.

— А вы бока пролеживаете, — шипел отец.

— Да ведь и поговорка есть: скоро — хорошо не бывает. Вот дурная голова-то не дает покоя!

Отец бросал недогороженный огород и бежал к дровам, судорожно колот их, складывал в косые поленицы, которые, бывало, падали тут же, при нем.

К завтраку он успевал изнемочь и падал на кровать, в валенках, сняв только старую фуфайку. Накрывался ватным одеялом, вытягивал поверх его длинные, в ревматических болоньях руки и протяжно стонал. Лишь изредка он приоткрывал глаза, косил ими, чтобы проследить, все ли в доме при деле. Такие же набеге на подворье он устраивал после завтрака, после обеда и только после ужина ложился уже насовсем, сняв и валенки. Когда Витька достаточно подрос, отец непременно брал его с собой на подхват. Если перебирали в подполье картошку, то Витька должен был держать мешок, изнывая от усталости и тоски. Отец и здесь торопился, зацеплял в пригоршни вместе со здоровой картошкой и гнилую, запрятывал все это

в мешок. И злился, если Витька говорил, что незачем и перебирать картошку, когда опять гнилая ложится со здоровой. «Не твое дело. Сопли утри!» — кричал отец, однако гнилую картофелину выкидывал. А потом снова все шло по-прежнему.

Витька умудрился и сделал для мешков подставку из досок. Мешок висел на ней, и его можно было не держать. Отец сокрушил подставку сапогом и снова заставил Витьку держать мешок. Так он таскал за собой Витьку каждый божий день. Бывало, что Витька старался, и тогда отец был в восторге, работал еще торопливее, вынуждая спешить и сына. Случалось, что Витька с отчаяния прикидывался больным. Отец отступался от него, но быстро обнаруживал обман и темнел лицом. Тяжело ему было с Витькой.

В редкие минуты просветленного настроения отец хоть и скупю, но философствовал, объяснялся перед Витькой. Даже две строчки стихов декламировал:

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...—

Так-то. Труд кормит. Борьба за жизнь.

Витька, глядя, как шляются по деревне его приятели, носятся на речку, строят удочки, забавляются целый день, до боли и тайных слез страдал, считая себя каторжником с детства. Он ничего не отвечал отцу. «Кто на охоту ходит да рыбу удит, у того никогда ничего не будет», — злорадно говорил отец, кивая на пацанов с удочками. А Витька не мог дожидаться своего часа, когда он подвырастет и уедет из этого ненавистного отцовского дома.

— Надо бы поярче, порадостнее пропагандировать труд, — вступал в разговор старший брат Витьки, тоже Серега, молодой офицер-политработник, приезжавший каждое лето в отпуск. Но он редко подавал такие реплики. Больше всего сидел запершись в летней горнице и писал стихи, которые никому не показывал, но о которых в доме знали все. Серега жалел Витьку. Но отца побаивался. И отец побаивался сына-офицера, которого нельзя уже было запереть в подвале и заставлять держать мешок.

Отец научил Витьку крыть крыши дранкой. Вдвоем они крыли новые скотные дворы и сараи в соседних деревнях. Крыли плохо. В четыре дранки забивали по одному гвоздю. Дело шло быстро, а новая крыша просвечивала

на солнце и протекала на другой же год. Почему-то никто на такое качество не обижался. Кровельщики были нарасхват. Но в своей деревне отец никогда подрядов не брал... Так Виктор Серебрянский и пошел по строительной части. Работать привык. Работал много. Бывало, что и с увлечением. Но больше по привычке. Постиг и узнал немало. И не было случая, чтобы в его отчетах о выполнении плана стояла цифра меньше ста процентов. Его ценили.

* * *

— Вот, Тamarочка, двести тысяч к плану. Как раз,— сказал Виктор Викторович своему плановику на другое утро, передавая подписанные акты. Тамара изумленно вскинула на него глаза.

— Что-то вы не такой сегодня, Виктор Викторович,— сказала она негромко, подчеркивая, что не вдруг разрешила себе сделать замечание о том, как выглядит начальник. И еще в ее лице было что-то непонятное, словно волнуется она, хочет что-то сказать и не может.

— Да, замотался я,— ответил Виктор Викторович, благодарный Тамаре за такую заботу.— Все ведь о коллективе печешься, а не о себе,— внушительно сказал он.

— Вот, план в кармане. Премии, наверное, можно на полную катушку. Заготовляйте приказ. А я поеду домой, полежу. Сердце что-то пошаливает. Не заболеть бы на Новый-то год.

Странное что-то происходило с Виктором Викторовичем. Ведь не слышал он никакой боли, и сердце у него не колело. И минуту тому назад он вовсе не помышлял ни о какой болезни. Просто неуютно было на душе, хотелось какой-то разрядки. А вот разжалобили его слова Тамары. И решил поболеть.

— Лечиться, так уж надо серьезно,— сказала Тамара и прикусила язык. Ей послышался в своих словах какой-то особый, второй смысл. Она испугалась, что уловит начальника эту двусмысленность, этот недобрый намек. Она вышла от него, прижимая к груди акты, с тревогой ожидая, что ее сейчас вот вернет Виктор Викторович и спросит, как, мол, понимать... Но Виктор Викторович ничего не уловил, так как и мысли не допускал, что его молоденький плановик может иметь недоброе мнение о нем. Он подумал только, что и впрямь не плохо бы по-

лечиться как следует, забюллетенить бы на месяцишко-другой, попасть в хорошую клинику, а потом на курорт. Но пока он решил полежать дома. И уехал.

Ему не раз звонили из конторы и из треста, советовались по годовому отчету. Говорили, что надеются на скорое его выздоровление, а он отвечал, что надеется тоже. И ни разу в этих разговорах не было произнесено убийственное своей точностью слово — приписка. И то, что оно не было сказано, успокаивало Виктора Викторовича. И он скоро вышел на работу.

Федька

Помню, словно это было прошлой зимой...

В заброшенной избе жуткий сумрак. Гудит обледенелая печная труба. Ветер надрывно завывает, ударяясь о голые стропила. В синие квадраты окон, из которых вышиблены вместе со стеклами и рамы, залетает колючая снежная россыпь. Порою слышно, как подрагивают даже стены. И тогда кажется, что это и не изба, а что-то живое, пригвожденное к мерзлой земле и изнемогающее в борьбе с нескончаемой февральской вьюгой.

А мы сидим в избе уже не первый час. Носы у всех хлюпают. Кто-нибудь обязательно каплянет, будто дрова колет, долго и тяжко, до слез. От стужи деревенеют руки, сводит ноги и спину. Но домой никто из нас идти не собирается. Здесь интереснее и хоть до утра можно просидеть, если Федька тут и в настроении. А он заводит:

— Робя, давай новую песню про всю деревню сочинять. Старая надоела. Начнем с того конца. Вот так:

В том конце, на том посаде,
Есть высокая гора.
Там кататься нам негоже —
Живет Марья краснорожа,—

кто дальше?

По голосу Федьки слышно, что ему самому по душе первый куплет — здорово подцепил Марью. На том краю деревни действительно есть высокая гора, вернее — крутой склон к ручью. Начинается он от загоры Марьи Гусятниковой, здоровущей краснолицей бобылки. Когда мы приволакивались на гору со своими самодельными лыжами и санками, Марья, если была дома, опрометью вылетала на крыльцо.

— Ироды! Хулиганье безбашенное! Весь частокол переломали! — задыхаясь, орала она и неслась на нас по спешной целине. И не дай бог, кто-то замешкается в сугробах — обледенелые валенки как раз в такие моменты поровили выскочить из ремешков — Марья лупила того по чем попадя. Здорово на нее мы не обижались, помнили, что каждый из нас выломал из ее огорода не один десяток частоколин, а цену частоколипам тоже знали: на себе таскали их каждое лето из выгороды. О том, что существуют специальные лыжные палки с колечками, мы в ту пору и не слыхивали.

— Ну? Кто же придумал? — торопит Федька.

— Есть у Марьи кочерга! — дурашливо выкрикивает кто-то в темноте, наверняка вспоминая о своих синяках.

— Ага! — тотчас подхватывает Федька. — Есть у Марьи кочерга — тут живет Иван Карга.

Воодушевление растет. Кто не знает Ивана Каргина! Мужик страховидный и молчун. За то и Каргой прозвали. У него шесть дочерей-погодков. Прославился Иван еще тем, что ни в какую не хотел и жене не разрешал покупать дочерям обувь. Считал, что и так вырастут, сам рос босым.

— Че про Ивана скажем? — Федька уже в центре нашей ватаги, и в темноте видно, как горят его нетерпеливые глаза.

— Не надо бы их обижать, но в песне должна быть правда, — вслух рассуждает он. И нам всем кажется, что сочинять надо только правду, чтобы нельзя было из песни слова выкинуть. Федька переводит дух и декламирует:

У Ивана все босые —
Тут живут одни косые!

Ребятня валится от хохота на пол. Не фасонится и Федька, тоже скалит белые зубы. Одни косые — это две сестры и брат Опросичевы, соседи Каргиных. Всем им уже за тридцать, все немножко с косыньей в глазах от природы и, наверное, оттого они диковаты и холосты, а работники — безответные.

— А дальше как, Федька? — насмеявшиеся пацаны дергают его за рукава, ждут новой потехи.

— А дальше так:

У Опросичевых баня,
А за ней — Чижова Таня.

Тане надо Якова,
Дальше — Груня Шмакова...

Ребяшня помирает. Особенно оттого, что «Тане надо Якова». Таня Чижова — женщина пожилая и одинокая. В деревне она считается человеком культурным: как же, в городах жила. Но в войну как приехала, так и осталась жить в родительской избушке, притулившейся на задах. Бабы любили Таню за обходительность и душевные разговоры. Она под большим секретом рассказывала всем им, как в молодости влюбилась в начальника по имени Яков и какой этот Яков был красивый, характером добрый и что она вот только с ним и могла бы жить, а больше ни с кем. Яков об этой любви ничего не знал, да и затерялся он где-то в военные годы. Наверное, мечты о Якове — а вдруг он вспомнит о ней и нагрянет в деревню — и были главным в жизни Татьяны Чижовой. О Якове в деревне знали все, но никто над Татьяной не смеялся. Разве только мы, пацаны, да и то за глаза.

...В избе восторженный рев. Даже вьюги не слышно. Однако кое-кто смолкает и словно бы принимается тосковать. Дело ясное — очередь в песне подходит к его дому, а слушать, как потешаются над твоими родителями и над самим тобой вроде бы и не хочется. Но Федька был человеком. Как только такая очередь подходила, он первым предлагал вовсе необходимые, а то и лестные слова. Помню, о нашем доме он мигом сложил такие строчки:

У Степановых крыша нова,
Дальше — Дарьюшка Рожнова.

Не очень складные получались строчки, зато все в них было верно. На нашей избе крыша действительно была перекрыта новой дранкой, и для деревни это было в те послевоенные годы заметным событием.

Ну как было не любить Федьку! Оттого и считался он нашим заводилой и атаманом. В любую минуту, хотя бы и в разгар сочинения песни про всю деревню, Федька мог круто сменить пластинку, свистнуть в два пальца, кинуться куда-то с призывным криком, и вся паша орава срывалась за ним, зная, что сейчас будет что-то до невозможности бедовое.

Под предводительством Федьки мы опустошали чужие огороды. Наполненные добытым добром карманы и пазухи разгружали где-нибудь под сараем, за поленницей дров.

Таких укромных мест у нас была уйма. А те самые огурцы и яблоки из своих загород нас отчего-то не интересовали.

Особенно забавные и дерзкие вылазки Федька предпринимал в святки. Он еще был маловат для того, чтобы ходить по деревне вместе с признанными обычаям ряжеными. Потому действовал по-своему, трудясь ночами напролет. У какой-нибудь избы, хозяйка которой славилась крепким сном, обливал водой крыльцо до тех пор, пока над ступеньками не вырастала раскатистая горка. Развешенное в заулках белье набивал соломой из завалин и расставлял вдоль улиц «человечков». Забавы эти были рискованны. За них запросто можно было схлопотать засовом поперек спины. Поэтому Федька брал с собой всего одного или двух дружков поухватистее, умеющих к тому же и промолчать при случае.

Больше всего досаждал он своему соседу — бригадиру, недавнему фронтовику-разведчику, сохранившему еще военную выправку и гвардейскую лихость. Откроет утром лазью бригадирова жена, а на нее валится соломенное чучело, одетое в мужнее исподнее. А то и вовсе из дому не выбраться: дверь санями-розвальнями приперта.

Целыми днями не стихали в деревне пересуды. Кто смеется, а кто и в обиду ударяется. Мужики грозятся подстеречь хулиганов, оборвать им уши и набить в штаны снегу.

— Задача ясная: пресечь диверсии мелкого противника, — заявил бригадир. — Выполнение задания беру на себя.

До полуночи караулил бригадир деревню в последний день святков, прислушивался, заглядывал во все заулки — тихо кругом. А как глянул на свой двор, так и затрясся. Имелась у него резервная поленница дров, давненько стояла под дворовым навесиком, а в эту ночь взяла и ушла от дома шагов на тридцать, в самые сугробы. Только те поленья и остались, что к земле примерзли намертво.

Федька потом рассказывал, какие словечки выкрикивал в ту минуту бригадир. Разгадал Федька и коварный план бригадира, созревший у него тут же. Поначалу зашел бригадир в дом, помигал у окна огнем, будто спать ложился, а сам разыскал ременный кнут и уселся в сенях возле кошачьего окошечка. А надо сказать, что в избу бригадир попадал с улицы по стремянке — старое крыльцо он развалил еще по осени, а новое поставить не успел.

Долго ли, коротко ли, но почудился бригадир порох и смешок. Беззвучно шагнул бывший разведчик за порог...

Не любил вспоминать бригадир об этом случае. Шагнуть-то он шагнул, а стремянки как не бывало. Брякнулся бригадир на мерзлую землю у родного порога. Крепко ушибся, но сгоряча бегал по деревне еще часа полтора. Как попадал в избу без стремянки, об этом никто не знает, даже Федька, который к тому моменту уже убрался во свояси и засыпал на печи. Зато утром он не мог отказать себе в удовольствии: еще потемну засел в недалних кустах и с восторгом наблюдал, как добывает бригадир свою стремянку с крыши собственной бани.

Были у Федьки и такие дела, на которые он ходил в одиночку. Летом укрывался в лесных малинниках, вымазывал лицо глиной, раздевался до трусов и ждал. Когда в малинник набивалось с десятков девок и малых девчонок, Федька взывал дурным голосом и скакал к ним на четвереньках. Визг поднимался неопиcуемый. Девчоночья стая без оглядки неслась к деревне, теряя гребенки, платки и все другое, что держится некрепко. Конечно, страдали при этом и Федькины бока: не так-то просто было лазить голышом по колючим зарослям, полным крапивы, но эффект операции во много раз превосходил эти мелкие издержки. Девчонки боялись показываться в малинниках все лето и распространяли слухи, что там живут разбойники, дезертиры и сами черти.

Федька, видимо, понимал, что его выходки не должны быть частыми и похожими одна на другую. Поэтому он редко поддерживал наши неоригинальные затеи. Зато песню про всю деревню можно было складывать заново хоть каждую неделю. И они получались, одна смешнее другой. О них узнавала вся деревня, и, бывало, бабы потешались, пересказывая корявые, но такие уморительные строчки. Находились шутники, которые тайком просили и подговаривали Федьку сочинить про кого-нибудь похлеще. Федька в таких случаях притворно удивлялся, делая вид, что к песням не имеет никакого отношения. Он был поэтом, начисто отрицавшим свое авторство, и упорно отказывался от известности. Однако новые строчки скоро появлялись. Авторство раскрывалось. Так и прозвали Федьку писателем.

Многие лелеяли злую мечту проучить насмешника. Многие же и любили его. Порой и мужики поглядывали

на него с уважением. За Федькой числилось немало дел, которые, по тогдашним нашим понятиям, считались подвигами.

Взбесился в июльскую жару деревенский баран. Разогнал мелюзгу, поддав кое-кому под зад, сорвал веревку с бельем и истолок в пыли простыни Тани Чижовой. А потом залетел в колодец. Там, в ледяной воде и темени, баран поостыл и орал вполне повинным голосом. Деревне он был нужен, да и нельзя было допустить, чтобы пропала скотина среди бела дня на глазах у людей да еще и поганила колодец. За бараном полез Федька. Цепляясь за подгнившие пазы сруба растопыренными руками и ногами, он потихоньку спустился до самой воды. Бабы, сбегавшиеся к колодцу, заглядывали в темную прорву и обмирали. А Федьке хоть бы что. Он обмотал барана веревкой, а сам тем же манером подался наверх. Вылез и не охнул, только глаза у него были серьезные, когда вычищал он из-под ногтей кровавистую грязь. Теперь вытащить барана было нетрудно. Бабы тянули его с хохотом. Долго дрожал баран всем телом, отлеживаясь тут же у колодца. И характер у него после такого конфуза переменялся к лучшему. А Федька делал вид, что и не слышит похвал, будто слазить в колодец ему ничего не стоило.

Уважали мы Федьку еще за справедливость и учились ей у него. Как-то один пацан, желая перещеголять в дерзости самого атамана, ночью выкосил в огороде безобидной и беззащитной старухи кусты смородины и на грядки нагадил. Старуха обиделась до слез. Подозрение пало на Федьку, но он не оправдывался, а гордо молчал. Молчали и мы, хотя знали, чьих рук это подлое дело. Именно подлое: мы-то во время своих вылазок ничего в чужих загородах не портили и если рвали огурцы, то не ломая ботвы. И когда вредный пацан пристал к нашей ватаге, гордясь своим поступком, Федька, словно взрослый, вывел его из круга за ухо и сказал:

— Ты нам не товарищ, пока не посадишь старухе смородину.

Дрянью оказался пацан. Смородину он не посадил, но и к нам подходить боялся. Старуха уже собиралась заявлять в милицию, когда с Федькой стряслась беда, заслонившая на время все деревенские новости и события.

У риги молотили пшеницу с семенного участка. Невелик был участок, и снопы с него пропускали не через боль-

шую тракторную молотилку, а запустили старенькую от кошного привода. Федька погонял лошадей и в обеденный час задержался у риги, чтобы растолковать сбежавшейся ребятне устройство механизма. Невыпряженные коши хрупали овсом, а ребятня лазила, где только можно было пролезть, гладила теплые железяки, жевала сладкую пшеницу. Была тут и шестилетняя дочь бригадира. Из-за нее все и получилось.

А может, и не из-за нее, а из-за мотоцикла, на котором подкатил к риге бригадир. От взревевшего зверем мотора вскинулись коши. Покатилась к ним под копыта сбитая дышлом девчонка. Кто-то в отчаянии завизжал. А Федька не растерялся. Птицей кинулся он к девчонке, подхватил ее и успел еще вспрыгнуть на жестяной круг, прикрывающий центральную шестерню привода. Но здесь, с ношей на руках, на крутящейся гладкой жести он не устоял. Он покачнулся и осел. И нам показалось, что мы слышим, как хрустят в стальных зубьях шестерен Федькины кости.

Нас, пацанов, хватил столбняк. Но бригадир одним взмахом рук остановил лошадей, поднял на руки Федьку вместе со своей дочерью и бегом отнес их под навес, на чистые мешки. Бледный, он рвал на себе выгоревшую гимнастерку и закручивал на Федькиных погах жгуты. Мы долго не могли высвободить из Федькиных рук оцепеневшую, но совершенно невредимую девчонку, утирали с его похуевшего лица обильный пот и боялись взглянуть на его поги.

В тот же день Федьку увезли в районную больницу. Рассказывали, что ему сделали операцию и что ходить он будет. Бригадир чуть не каждый день гонял в больницу на мотоцикле. Видимо, он понимал нас, этот бригадир, потому что вернувшись из одного такого рейса под хмельком, он уселся посреди нашей осиротевшей ватаги и долго грустил с нами о Федьке.

— Что я его кнутом сторожил, так это пустяки, я бы его не ударил больно, — уверял он. — А что он стремянку уволок, так это даже к лучшему: дал понять, что бригадир приличное крыльцо падо иметь... — И ударялся в воспоминания. — Да вы что. Мы в такие-то годы разве так озоровали! Далеко вам до нашего. Самый-то хулиганистый из нашего слоя высшее образование получил, прокурором работает... А жаль Федьку. Это на фронте, в бою не обидно

инвалидность заработать, а тут... Да... В такие-то годы... А из него бы и не прокурор вышел, а сам народный судья... Да еще и выйдет,— убеждал нас бригадир. И мы верили, что так оно и должно быть.

— Худо только, если Федьку девки обегать будут, безпогого-то. Вам об этом непонятно еще, а я думаю. Но уж если станут сторониться, то я, придет время, своей дочери прикажу за него замуж идти... Если с умом вырастет девка. Дуру Федьке ни к чему.

Мы слушали и не смеялись.

Федьку привезли в деревню глубокой осенью. Он учился ходить с палочкой и болезненно улыбался. Говорил мало. Больше сидел у окна с раскрытой тетрадкой и что-то в нее записывал.

— Что пишешь, Федя? — интересовались мы.

— Стихи,— не сразу признался он.

— Про всю деревню?

— Нет. О природе... И так, вообще...

Тот год он в школу не ходил. А мы закончили семилетку и разъехались учиться в города. Года два мы еще встречались с Федькой в каникулы, но как-то мельком. Разными становились мы людьми. Федька грезил стихами и считал, что мы в них ничего не понимаем. Наверное, он был прав, потому что мы действительно не могли оценить его увлечения и даже тайком посмеивались над ним. А потом и Федька исчез из деревни. Да и нас, его сверстников, судьба разбросала в разные края, приставив каждого к своему делу, которое, если досталось и впрямь твое, пленит человека и заставляет надолго забыть даже друзей детства.

Американский пиджак

Время было не раннее, но и не обеденное. Как раз такое, когда пунктуальная почтовая кобыла успела отмерить мохлятыми ногами двенадцать верст от райцентра, в деревне уже откосили росу, хозяйки истопили печи. В этот час и раздался на улице призывный крик:

— Бабы! Посылка нам пришла! Из Америки! Вот диво-то! Посмотрим, бабы-ы!

Это скликала народ Марья Левина, председатель сельсовета, а попросту — Левиха. Босая, она суетилась на крыльце, потряхивала одной рукой куфтырь, обтянутый мешковиной, а другой шарила по подолу, стараясь собрать на нем складки так, чтобы не было видно прорех.

От ближних домов подошли женщины. Нанерегонки мчались ребятишки. Невдали под ивушкой проснулся колхозный счетовод Демьян, прозванный Кимряком за то, что обучался он сапожному ремеслу в Кимрах. Он еще вчера вручил кому-то сапоги для покоса и потому был с утра под хмелем. Кимряк мигом оценил обстановку и двинулся на зов Левихи. Передвигался старик-калека, сидя на потрескавшейся линке, туго пристегнутой к поясу: сначала выкидывал вперед единственную ногу (другую ему отрезали после того, как он поранил ее шилом и случилось заражение крови), крепко ставил каблук сапога на землю, потом, упершись позади линки молотком, зажатым в руке, приподнимал вместе с линкой туловище и бросал его на аршин вперед. Получался шаг.

У крыльца собралась редкая толпа. Кимряк с ходу пробился сквозь нее к пристунку.

— Давай-ка, — протянул он к посылке длинную в сичих жилах руку, а сам уже вытаскивал из-за сыромятного

ремня, опоясывающего липку, сточенный углом сапожный ножик. Все примолкли. Кимряк чиркнул лезвием по шву куртки, запустил в прорез пятерню. Вместе со взмахом его рук раздался сухой треск рвущихся ниток, брызнули кусочки сургуча. Мешковина упала на притоптанную траву, а в поднятой руке старика развернулся и повис, удивляя невиданной расцветкой, мужской пиджак немалого размера. Разноголосо ойкнув, женщины загляделись на заморскую одежину. Раздались голоса изумления:

— Гли-ко, клетки-то какие большие да в красную дорожку!

— И поношен каплю, новехонькой!

— А кому прислап-то?

— «От добрых граждан сэшэа в знак помощи населению России излишки вещей» — так в записке сказано, — пояснила Левиха. — Выдадим тому, кто заслужил. Решать будем.

Женщины, как и ребяташки, не проявили большого интереса к заграничной штуковине. Кому ее носить-то? Все мужики и парни на войне, и никто еще не вернулся, а многие и вовсе не придут. Сколько баб-то уже получили казенные конверты... Только Нинка-с-медалью загляделась на белоснежную подкладку пиджака. И губы ее сами собой прошептали: «Вот бы выпороть да на кофту перешить!»

Люди разошлись. У каждого хватало своих забот. Левиха еще немного постояла на крыльце сельсовета, разговаривая сама с собой: «Решать будем. Вон Колька Семенов и на обед не едет, все на клеверище погибает. А тоже у парня брюхо голое».

Колька Семенов — семнадцатилетний, по уже налившийся силой парень — в самом деле гонял в это время по полю пару лошадей, запряженных в конные грабли. Ему нравилось собирать в высокие шуршащие валы сухой, похожий на колючую проволоку клевер. Колька был безответным и единственным в деревне человеком, выполнявшим любую мужскую работу.

Минул обеденный час. Женщины с ребяташками поспешали на покосы. Без песен, без громкого говора шли люди. Еще мало радостей было в деревне в это первое послевоенное лето.

Вымерла улица. Только куры рылись в пыльных ямках возле изгородей. Изредка дребезжала телега и глухо топала копыта лошади, управляемой каким-нибудь паца-

ном, едва достигшим школьного возраста. Демьян Кимряк одиноко сидел в тени под окнами огромного пятистенка — колхозного правления, курил доморощенную махру и думал о пиджаке.

— Отличная вещь. Главное — заграничная! В ней не только фасон или красота, но и качество. Не то, что наш брат шьет. Было времечко — важные господа такой покроей уважали... Владелец шляпной фабрики, как сейчас помню, Петр Петрович Сморгонский... любил, шельма, крупную клетку на пиджаке. Борта чтобы были круглые, с застежкой на одну пуговицу, плечики чтобы высокие... Имел я с ним дело.

Кимряк с молодости был предприимчивым человеком, но — неудачником. В годы нэпа переехал в Москву, на последние гроши купил пару самоваров, посуду и завел свое дело под вывеской «Чайная. Демьян Гнедов и К°». Указание на компаньонов было сделано с единственной целью — придать предприятию солидность. Трудился один, с великим старанием. Грел самовары, заваривал чай, бегал в лавки за сахаром, баранками и сухарями, мыл посуду. И вроде бы на лад дело пошло. Уже и балычок желтел на витринке, и ветчина, и икорка черная. Завел в залу музыку. А потом как-то оказалось, что выручки не хватает на уплату долгов и процентов. Может, так и не получилось бы, если бы хозяин заведения сам пореже заглядывал в рюмку вместе с именитыми и неименитыми гостями. Но любил Кимряк потолковать о жизни с интересными людьми. А они всегда были. К нему в чайную даже писатель один заезживал. «Ты, говорит, Демьян, — пример удали и размаха русского, ни в каких франциях и парижках такого человека не найти, надо будет твой образ в романе изобразить». В общем, прогорел Кимряк. Оказался неплатежеспособным должником. Сам продавал барахло с молотка, и остался у него от чайной только узорчатый самоварчик. Он его берег и посейчас грел три раза на дню сухими еловыми шишками.

...Солнце из раскаленно-белого стало красным, как начищенный к пасхе медный поднос. Оно заметно теряло высоту.

— Подоприте, бабы, граблями солнышко-то, а не то оно сейчас за лесок падет, не подогрести вам луговину будет, — так на правах взрослого пошутил Колька Семенов, проезжая мимо женщин, поспешно ставивших копны.

А сам запылил к деревне на своих граблях. Он свое дело сделал, нового наряда вроде не было.

Возле правления его окликнул Кимряк.

— Постой, парень, маленько. Не хочешь ли заморский фрак носить? Ты один ему по фигуре подходишь. Будешь в нем как жентельмен.

— Чево? — удивился Колька. Он подумал, что пришли новости по международному положению и остановился. О пиджаке из Америки он еще не знал. Но когда Кимряк ввел его в курс, расписывая пиджак в самом смешном и неприглядном виде, Колька дернул вожжи.

— Провались он, этот фрак, еще девки засмеют, — и погнал лошадей к дому.

Вечером Левиха пришла к Семеновым и сообщила о решении премировать Кольку американским пиджаком. Но Колькина мать, Наталья, уже знала, что сказать:

— Уж не надо нам пиджака, Марья Евстафьевна. Обойдется Колька-то. А вот меньшие — оборвались. Уж ты учти, как привезут материал да распределять будете. Вон они, дьяволята, носятся. И на заплатах-то сплошные дыры. — И показала на ребятишек, которые вдруг застеснялись, шумно кинулись на летнюю половину избы, попадали там на соломенные постельники, разложенные по полу, и тут же притворились спящими.

* * *

Пассажирский поезд проходил мимо деревни в шесть утра. Верстах в пяти он останавливался на разъезде. И бабы, не сговариваясь, каждое утро после покосной росы собирались на дороге у прогона. Они стояли, тяжело опираясь о косовища. Говорили о всякой всячине, а сами без утайки вглядывались: не покажется ли на дальнем повороте дороги человек в военной форме. Ждали и те, кому мужья и сыновья писали, что скоро придут, и те, к кому с войны уже никто не вернется.

Так было и на другой день после прибытия посылки из Америки. Но пустынна и в этот день была дорога. И, вздыхав, женщины разошлись. А как раз в этот час к деревне подходил солдат, старший брат Кольки Семенова — Алексей.

...Пока мать собирала на стол, чтобы покормить Кольку после росы, он вышел в загороду полакомиться горохом.

Его встревожили чужие голоса. Раздвинув руно, Колька увидел, что на заднем заборе, сделанном из жердей, сидит длинный солдат с одной ногой, костыли в загороде перебрасывает. А помогает ему чернявая девка в красном платье. Колька сперва-то и не узнал брата.

Не вдруг вошел Алексей в избу. Разгоревшимися глазами оглядел загороду и задворки и неловко зашагал по узкой борозде меж грядок, задевая буйную огуречную ботву. Но, выскочив на луговину, махнул такими шажичами, что Колька остолбенел и отстал.

— Только не плачь, мама,— дрогнувшим голосом проговорил Алексей, подходя к крыльцу, куда мать потянуло выйти внезапно заболевшее сердце.

Мать не заплакала. Крепко сжала губы и глядела сухими глазами на длинные желтого дерева костыли. Чернявая девушка внесла в горницу чемодан и тощий солдатский вещмешок.

— А вы кем будете? — участливо и с тайной тревогой спросила ее мать.

— Это наша сестрица! — бодро отрекомендовал ее Алексей.— Марго из Армении. Меня из госпиталя сопровождает.

К обеду в доме Семеновых было полно народу. Бабы охали и плакали, тайком взглядывая на то, как хитро закручена штанина вокруг обрубленной ноги Алексея. Спрашивали, не встречал ли Алексей на фронте их мужей и сыновей. Тут же пересказывались многочисленные истории о том, что был солдат не один год без вести пропавшим, а вдруг объявлялся в одночасье живым и здоровым. Алексей уверял, что такое случается, и нередко.

Из вещмешка была извлечена бутылка невиданного в деревне кавказского коньяка, которым друзья снабдили Алексея в дорогу. Он чокался с Кимряком, азартно толкуя ему о достижениях протезной техники. Чувствовалось, что у инвалидов устанавливается своя особая солидарность.

Алексей снова и снова принимался рассказывать, как его, командира пулеметного взвода, ранило сначала во время атаки, потом мина накрыла вместе с двумя санитарями, несшими его в медсанбат; санитаров, поскольку они шли в полный рост, убило, а он, получивший еще порцию осколков, неизвестно сколько времени лежал без сознания и очнулся уже в дальнем тыловом госпитале. Уверял, что

один осколок мины у него и сейчас сидит в боку, а второй — в скуле. Будто бы две боевые медали у него пролали: то ли их сорвало с гимнастерки взрывом, то ли потерялись они в дни долгих мытарств по госпиталям...

Кимряку принесли гармонь, и он старательно чеканил слова под свою музыку: «Если завтра война — так мы пели вчера, а сегодня война наступила»... Мать подавала на стол скудную закуску и отворачивалась, чтобы не выдать слез. Алексей уже не раз кричал ей: «Не плачь, мама!» И она не хотела плакать. Ей все вспоминались его письма. «Я стал такой легонький и сильный, что на одной руке дважды на турнике подтягиваюсь» — это из командирского училища — и матери со страхом думалось, что сына там плохо кормят, если он так исхудал. «Пуля пробила в двух местах мою шинель, а у меня оказалась всего царапина на пальце» — это уже с фронта. И мать не спала по ночам, в тревоге, что обманывает ее сын, что, наверное, не царапина у него, а страшная рана. И вот: «Я теперь инвалид. Левую ногу у меня отняли выше колена... Скоро приеду». Приехал не скоро. Три операции было.

— Хоть такой-то вернулся, и то счастье, — успокаивала себя мать.

В избу влетела Левиха и тотчас представилась фронтовику. За столом ей нашлось почетное место и чистая стопка. Пели. Алексей велел Марго достать из мешка тетрадь, которая сплошь была исписана песнями. Их в деревне не знали. И он старательно выводил один, дирижируя себе обеими руками:

Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

Потом Алексей попросил спеть Марго. Она не отнекивалась и не стеснялась. Поднялась за столом и, открыв рот в широкой улыбке, запела что-то свое, знойное и бесконечное, как поток жаркого солнца, заливающего деревню в этот июльский полдень. Никто не понял ее песни, однако в ладоши похлопали. Алексей вскочил, пошатываясь на единственной ноге, щелкнул пальцами и заорал: «Асса-а! Bravo!»

— Она отсюда прямо в Москву, в консерваторию, — ошарашил он односельчан незнакомым словом.

Плясали. Левиха первая. Она была нездешняя, эвакуированная, остановилась в деревне еще в первый год войны с одним узлом тряпок. И припевки у нее были свои.

То ли, то ли я не бес,
То ли не сотонка,
От Великих Лук бежала,
Дрыгала котомка.

Нинка-с-медалью тоже пела неслыханное до войны.

Полюбила лейтенанта,
А потом политрука,
И все выше, выше, выше,—
Добралась до пастуха.

Нинка-с-медалью тоже была на войне. Добровольно записалась в медсестры, но через год вернулась беременная и теперь воспитывала сынишку, которого и сама называла фронтовиком. Была у нее какая-то боевая награда, но она перестала о ней вспоминать, после того как к имени ее прибавили словцо — «с медалью». Под медалью, конечно, подразумевался ребенок.

Марго в тот же вечер, к тайной радости Натальи Семеновой, уехала поездом на Москву. Левиха тут же побежала в сельсовет, и с согласия всей деревни американский пиджак был отдан Алексею.

* * *

На другое утро Наталья не пошла на покос. Ходила за старшим сыном, следила за каждым его жестом, угодить норовила. Ночь-то напролет проплакала мать, глядя на спящего сына-калеку. «Что за жизнь теперь у него будет? Ох, испортила ему жизнь эта распроклятая война, злые враги!» — думала она и не могла представить себе будущее Алексея. А к утру кончились слезы. Да и он плакать не велел... Еще раз рассмотрела каждую вещицу, привезенную сыном, каждую одежинку. «Поберегу его первые дни, послежу, все выведаю, что у него на душе, — решила она. — Не отпущу его пока ни на шаг».

И все же не уследила мать. Пока убирала со стола после завтрака — пропали оба старшие сына. Метнулась Наталья на летнюю половину избы, потом в кладовку, на чердак заглянула — нет их нигде. Выбежала на крыльцо, покликала.

— Тут мы, — донесся голос Алексея из загоры. — Воздухом дышим, хозяйство осматриваем.

— Что-то неладное затеяли, — встревожилась она. Но

сыновья уже шли к дому. Только зачем у Кольки заступ? И глаза отводят от матери.

— А и хорошо же дома! Погода чудная! — воскликнул Алексей, и Наталья, обрадовавшись вместе с ним, забыла о своей тревоге. Да и где ей было догадаться, что закопали вот сейчас сыновья в укромном месте тайно привезенный Алексеем трофейный пистолет. У Алексея будто гора с плеч свалилась, а Колька посерьезнел — впервые доверили ему такую страшноватую тайну. И оба они чувствовали, что тайна еще крепче сблизила их.

К обеду и вовсе успокоилась мать. Такой уж Алексей был простодушный и веселый, будто и не пережил страшных ран и операций. Приободрилась, повеселела мать, и когда по деревне прокричали, что приехал городской докладчик и надо всем собираться, она с легким сердцем отпустила Алексея одного.

Народ привычно сошелся к сельсовету. Алексей и Кимряк уселись на пижней ступеньке крыльца. Лектора — очкастого старичка — слушали с полным вниманием. Но мало кто понимал все, что хотел он сказать. Уж больно отчаянно картавил старичок и не в меру напирал на перусские слова. Однако главное уловили все: международная обстановка сложная и работать в колхозе надо еще лучше. Услышав что-то недоброе про Америку, Алексей почувствовал себя неуютно в пиджаке. Надо же было в него вырядиться!

После лекции Кимряк звал Алексея к себе. Угощались самогонкой и рассуждали.

— Господа заморские бряцают оружием, — говорил Кимряк. — Эти Черчилль и Трумэн, как два сапога — пара. Одним словом, империализм. Как ты на это смотришь?

— А так я смотрю, что теперь невозможно на нас нападать и никому нас не победить, — горячо говорил Алексей.

— А я так думаю. Лучше миром жить. Лектор верно сказал, что время работает на нас, — возражал Кимряк.

— Никто и не спорит, — соглашался Алексей. — Вот она, война-то. — И вздымал костыли, хмурился.

Кимряк пытался рассуждать о торговле, кивая на пиджак и показывая тонкое знание предмета. Но Алексей перебивал.

— Ни о чем не хочу думать! — кричал он. — Дома я, жив, и точка! Имею право, — и тянулся за рюмкой. Но чем

больше он пил, тем мрачнее становилось его лицо. И песни пел с надрывом, почти с рыданием.

— Выстоим! — неожиданно вскрикивал он.

— Конечно, — поддерживал Кимряк. — И лектор на то нацеливал. Работайте, мол, лучше. А кому работать? И разве плохо работает деревня?

И принимался подпевать Алексею.

* * *

Наталья Семеновна плохо спала ночами. Все думала об Алексее. Какой парень-то рос! Высокий да ладный, а пуще того — умный и уважительный. Не жалко его было и в десятилетке учить. Это он еще мальчишкой смастерил модель самолета, которая летала сквозь весь прогон, а бывало и до овинов. Он первым во всей округе собрал радиоприемник, и перед войной в их доме нищали наушники. Теперь антенну давно оборвало ветром, и один конец ее валялся на крыше, а другой сиротливо свисал с березы.

Хороший был парень. А теперь что? Курит. Песни поет всякие. Випа все ему надо... Женить бы его, да кто пойдет за такого-то? Если только Пипка-с-медалью... А настроение у сына хуже пекуда. Долго ли до беды, до худой дорожки? О работе, кажись, и не думает. Да и как с ним заговоришь о работе, с калекой-то. Опять же хоть и невелика, а песня ему идет...

Думала Наталья и о муже Семене, который тоже прошел всю войну и теперь где-то в Германии все еще дослуживает. Пипшет: к осени дома должен быть. Скорей бы уж. Он, Семен-то, живо взял бы в руки Алексея, не посмотрел бы на его офицерский чин...

Плохо спала ночами Наталья Семенова. Сын вернулся, а забот и горя только прибавилось...

По деревне встали на собрание. Председателем колхоза всю войну была льноводка Лиза Чеботарева. Как могла, командовала артелью. И не могла дожидаться, когда ее заменят.

Люди сходились к сельсовету. Левиха и Чеботарева стояли на крыльце. Разговор повела Лиза:

— Вот и мужики к нам возвращаются, — звонко начала она. — Пора им за мирное дело браться. У меня уж все

сердце изболелось обо льне. Сами знаете, как я люблю его, голубоглазого. А мне — то в райисполком скажи, то в банк, то на отчет, то на совещание. Давайте мужика председателем ставить.

— Что ты, Лиза,— заговорили бабы.— Какие мужики! Алексей — разве хозяин?

— Что вы, люди! Где ему! — заволновалась Наталья. Но у Чеботаревой все уже было обдумано.

— Тогда давайте счетовода путнего назначать,— спокойно продолжала она.— Чтобы не все мне в конторе да в райцентре гибнуть, в дорогах прохладиться, а было бы время и ко льну руки приложить.

Страсти не разгорелись. Только Кимряк, который еще числился счетоводом, хотя и нечасто заглядывал в контору, зашумел:

— Ишь ты! Без уполномоченного нельзя такие вопросы решать.

Его не послушали. Проголосовали оставить Лизу председателем, пока получше мужики не подойдут, а Семенова Алексея — записали в протокол — «просить на должность счетовода и чтобы еще в райцентр ездил».

* * *

Алексей встрепенулся, когда мать подошла будить его, словно давно ждал прикосновения ее руки.

— Вчера, сынок, счетоводом тебя назначили. Уж ты ступай на работу-то, привыкай, раз люди на тебя надежду имеют,— ласково убеждала мать.

А Лиза уже ждала своего нового помощника, которому и дело сразу нашлось.

— В сельсовет звонили. Надо в банк срочно ехать с печатью, долг эмтэсу погасить да заодно пасчет молотилки на уборочную договориться. Без нее нам не совладать,— растолковывала Лиза Алексею.

И Алексей поехал. Ему хотелось работать. И было по-новому хорошо на душе.

Лошадь трусила по пыльной дороге и не нуждалась в понукании. Алексей загляделся на родные, до кустика знакомые места. Те же болотистые низинки, корявый ольшаник да неистребимый ивняк.

Обратно возвращался без задержки. Деньги перечислил, и МТС обещала прислать молотилку. По чувству ис-

полненного долга, обрадовавшее сначала, оказалось недолгим. Заныли раны, дергающей болью, в такт тележной тряске, напоминала о себе культяпка. Алексей старался и не мог подавить возникающую жалость к себе. Ногу не прирастишь. И нет ее, а часто побаливает. Вот и сейчас будто бы судорогой пальцы сводит... Алексей огрел кнутом задремавшую лошадь. Та рванулась и десяток шагов пробежала галопом, потом перешла на рысь и вот уже опять едва переставляет ноги.

Белые кудлатые облака, словно кипы чистого госпитального белья, вздымались в голубой выси. Они не в силах были закрыть раскаленное солнце. С Алексея лил пот, соленый, как тогда в окопах, когда надо было таскать на себе пулемет с запасом лент. Где-то на западе громыхнуло. Он вздрогнул. Картины войны до того ярко стояли в сознании, что удар грома показался ему орудийным выстрелом. По спине пробежал нервный холодок. Алексей поднялся на колено, ухватился руками за края телеги. Надо было поторапливаться: надвигалась гроза.

Почти прозрачные кучевые облака крупнели и синели. Вот уже полнеба закрыли они. Солнце вдруг скрылось, и сразу грозно заколыхались рваные края тучи. Налетел ветер, сначала теплый, но тут же свежей, свежей. В какие-то секунды высох пот на лице и груди. И вот уже кругом свистит, стелется к колее запыленная придорожная трава, отчаянно клонятся кусты. Взвилась тучей пыль, перемешанная с оборванными листьями, застелила глаза.

Алексей отчаянно дергал вожжи, раскручивал надголовной кнут. Конь, раздувая бока, тяжело рысил и всхрапывал. Вот уже и деревня видна. Осталось миновать церквушку на угоре, скатиться под уклон, переехать речушку, а там еловая выгорода — и дом в ста шагах. Но все быстрее надвигается туча, все отвеснее бьют в дрожащую землю ломаные стрелы молний, громче и суше треск раздираемого ими неба. Лошадь с размаху кидается в неглубокую речку, вспыхивающую под первыми каплями дождя, тяжело вытаскивает ноги из песка, перемешанного с илом, и в изнеможении останавливается перед подъемом на другой берег.

— Вперед! — кричит Алексей и бьет ее, стараясь концом кнута угодить ей под пах. Лошадь прыгает. Высоко подскакивает тележный передок. И, не удержавшись, Алексей летит навзничь, к воде. Потемнело в глазах, ост-

рой болью отозвалась культяпка. А сверху хлещет ливень...

Ему на мгновение захотелось не шевелиться, вытянуть ногу и лежать вот так: пусть все идет к чертям. Но в следующий момент он уже сидел и, скрипя зубами, обшаривал взглядом берег. Из-за ивняка лошади не было видно. Только с кустов свешивался костыль, черный резиновый фолпачок на конце его блестел и разбрызгивал капли дождя.

Ползком Алексей двинулся вверх. Сантиметр за сантиметром одолевал он осклизлый подъем. Дотянулся до кустов, поймал их цепкими пальцами и встал. Прыгнул на островок травы, устоял и, улучив момент равновесия, ухватился за костыль... Через минуту он уже был на верхней гривке обрыва. Лошадь стояла в десяти шагах на луговине. С ее крупа текли грязные струйки. Доковыляв до подводы, Алексей обнаружил, что пиджак промок до нитки, а чернильные буквы на колхозных бумагах расплылись так, что нельзя было ничего разобрать.

Теперь было все равно: переждать дождь или ехать. Все небо заволокло. Нелегко давался первый трудовой день...

* * *

Попорченные документы мало расстроили Лизу. Теперь она, дождавшись в конторе Алексея, с утра пересказывала ему все дневные заботы и, облегченно вздохнув, уходила в поле. Она-то лучше всех знала, что со льном все время надо быть рядом. При такой-то жаре долго ли ему сгореть на корню.

Когда лен теребят — работают не оравой, как это бывает на прополке. Теребят лен врозь. Кто когда уповод выберет, тогда и бежит к отведенной ему полосе. Другое дело, что норму на трудовой день все равно выполнять надо.

Рядом с Лизой на своей полоске стараются два хлопца Семеновых — Гешка и Вовка. Видит она — братья что-то не поладили. Гешка постарше, три зимы в школу бегал, не пускает Вовку на свою полосу, хочет самостоятельно отличиться. Может, и до нормы дотянет, а велика по нему порма-то: семь соток на трудовой день. Вишь, кричит на Вовку, что тот-де все время на полосе столбом стоит, а потом бригадир обмерит площадь и разделит ее на двоих. Не выработка будет, а смех, матери рассказать

стыдно. Прочь полпелся Вовка, чуть не ревет. Рано бы ему в поле-то. Седьмой годок ему только.

Лиза вышла к дороге, окликнула Вовку. А тот застеснялся, покраснел, что галстук пионерский, глаза в землю.

— Пойдем, Вовушка, я тебе полоску укажу, пойдем, хороший парень.

Лиза отмеривает с самого края поля пять шагов и завязывает узелком прядку стеблей. Потом, раздвигая перед собой стенку льна, идет шагов двадцать вперед, вдоль поля. За ней остается светлая дорожка. И там завязывает узелок. Оглянулась Лиза и улыбнулась: прошла по льну, а не затоптала, не примяла ни одного стебелька.

— Вот, дотеребишь досюда, и будет твоя норма.

— Семь соток? — спрашивает Вовка.

— Семь, — отвечает Лиза, — дотеребишь — трудодень начислим.

А сама отворачивается от Вовки. Сердце ее больно сжимается, но перед увлажнившимися глазами все равно стоит щупленькая Вовкина фигурка: рукава на локтях драпые, штаны на коленках — тоже. Шапки да обутки и вовсе нет. Напечет ему головенку, да и ноги в цыпках, сорняком исколоты. Ох, неспроста мать его горевала недавно, что не во что парней одеть, хоть в школу не пускай. Надо будет в сельсовете из фонда всеобуча что-нибудь им выкроить.

Теребит Лиза лен. Привычно вяжет аккуратные спопки. Глянет вправо: Гешка работает не разгибается, только локти подпрыгивают. Глянет влево: Вовка копошится, сидя споп вяжет, видно, поясница разболелась. Ох ты, лен, наш хлебушко!

* * *

Американский пиджак после грозы просох быстро, но свежился и потерял свой форсистый вид. Однако носить его было можно. Да и надеть, кроме-то, у Алексея печего. Все довоенное Колька попстаскал. А с войны Алексей принес только то, что было на себе: пару белья да пару бывшего в употреблении солдатского «хебе», ну еще потертую шинель и сапог на левую ногу. Вот и все трофеи.

Через месяц ребятишкам в школу. Видел Алексей, как мать по почам раскладывает на столе всякие тряпки, вер-

тит их так и этак, старается выбрать доскуты попрочнее, выгадать из них что-нибудь. На инвалидную пенсию братишек не оденешь. А на трудодни достанется ли что? План хлебосдачи колхозу прислали такой, что раза в два больше, чем в военные годы. Страдал от всего этого Алексей. Но, получив по почте пенсию, шел в сельмаг и щедро закупал папиросы, брал пару поллитровок. Вечером отправлялся к Кимряку и, не замечая, что тот в обиде на него за отнятую должность, рассказывал ему длинные фронтовые истории. Кольке, составившему было им компанию, быстро надоели эти рассказы и не ко времени лихие выпивки, и он уходил к девкам.

От МТС в колхоз прислали зоотехника — неказистую девчонку Тосю, которая остановилась квартировать по соседству с Кимряком. Как-то погожим вечером, когда инвалиды восседали на крыльце, она подошла послушать фронтовика. Алексей в этот раз старался вовсю. Но Тосю заели комары: не помогла и березовая веточка. Она тихо ушла, а Алексей сразу осекся и умолк.

По деревне же пошел разговор о новой паре: оба ученые, оба на должностях, а что он на костылях, так теперь и такие женихи под ногами не валяются. Не умолчала и мать.

— Жениться бы тебе надо, сын. Будет хоть к кому голову приклонить. Девка тихая, почесть ничего не делает, коров только в тетраточку переписывает, а получку хорошую кажипный месяц получает. В колхозе столько не заработаешь. Вам бы и хватило с твоей пенсией.

Алексей, слушая ее, громко фыркал под умывальником и свирепо командовал Вовке:

— Лей на шею! Не бойся, что в уши попадет! Еще лей!

Матери он ничего не ответил. Поехал в тот день в город, вернулся затемно мертвецки пьяным. Ночью бредил, отдавал команды, словно в атаку ходил, ругался и стонал.

Утром он с трудом поднял большую голову. И поразился тишине в доме. Вслушиваясь, уловил приглушенные всхлипывания. И вдруг крик матери, дикий, неестественный:

— Гос-но-ди-и! За что? Ведь и война-то кончилась!

Алексея подбросило. Он в чем был поскакал к постели матери, но дорогу ему загородил Колька. Недобро глянув на брата сухими глазами, он глухо выкрикнул:

— Ты все пьешь! А батьку убили!

Страшная весть, которой уже никто не ожидал, черным крылом повисла над деревней. Семен Семенов, председатель колхоза, ушел на фронт в первый месяц войны. Писал, что воевал под Москвой и на Волге, форсировал Днепр, брал Берлин. Ни слова не было в его письмах о фронтовых тяготах и опасности, о ранениях и коптунках. Его ждала вся деревня. Но где-то в беспокойной Европе злая нуля недобитого врага сразила Семёна на третьем месяце мира.

Теперь многие с ожиданием глядели на Алексея. Пичего, что ноги нет. И на одной шибко скачет. И голова на плечах не пустая, зря, что ли, его десять лет учили. Выпивает, это верно. Но ведь должен образумиться, подика.

Скорбная тишина стояла в доме Семеновых. Сгорбилась и постарела мать. Колька остервенело работал в колхозе. Тяжелые морщины перерезали высокий лоб Алексея. Поинному зазвучали в его душе строчки давно заученной поэмы: «Ты наш старший брат — наш второй отец...»

Алексей ехал в райцентр, и ему никто не мешал думать... Да, он станет отцом братишкам. К черту вино и табак! Он скомкал в кармане початую пачку папирос и швырнул ее в придорожную канаву.

— Нет, я не должен быть в деревне вторым Кимряком! — заключил он. Культяпка на этот раз у него не болела, и высокий душевный настрой не оставлял фронтовика до самого райцентра...

Правление обсуждало вопрос о пастбищах. Ближние выгоны скотина как бритвой выбрила. А на дальние — не прогнать ее, все изгороди сгнили, не отстоять хлеба от большой потравы. Алексей лихорадочно думал. Заготавливать жерди и колья — долго, да и не по силам это сейчас деревне. Опять же — огород городить не каждая баба может.

До войны у колхоза были пастбища за рекой, но сорокаметровый мост через нее рухнул от ветхости. Наводить новый — труднее, чем изгороди ставить.

— Есть выход! — решительно заявил правленцам Алексей. — Надо делать паром. Мы с Колькой в три дня его соорудим.

И как ни сомневались правленцы, что-де паромом стадо на тот берег полдня придется перевозить да полдня об-

ратно, Алексей так горячо защищал свою идею, что Лиза согласилась.

— Попробуем,— решила она. — Попыток — не убыток. Может, и получится. В крайнем случае, коров на ночевку за рекой оставим, а доярки к ним плавать будут.

Уже на другой день Колька без передыха рубил елки и таскал на себе бревна к реке, а Алексей вымеривал и подпиливал их. Управились за два дня. На славу получился плот. Широкий, заостренный спереди, он казался братьям чуть ли не кораблем. Втемнях они вывели его на быстринку, прокатились по течению. Выбрали заводь поспокойнее и закрепили плот кольями, вогнав их глубоко в песчаное дно. С удовольствием искупались и домой шли довольные собой.

Утром Алексей самолично начислил Кольке за плот три трудодня. И тут же в правление влетела обозленная пастухиха Агафья.

— Где ваш плот-от? — с порога заругалась она. — Целу утрину ищем, одни щепки на берегу нашли. Коровы голодные! Мошепники!

Алексей побледнел. Сразу вспомнился ливень, хлеставший всю ночь. Ясно, что плот унесло паводком, искать его теперь — глупое дело. А строить другой — и закататься нельзя.

Мучаясь от стыда, Алексей решил во что бы то ни стало найти выход. «Нет безвыходных положений», — повторял он про себя одно из армейских правил. И придумал.

Немало пришлось поубеждать председательшу, что вдоль прогонов, на месте старых изгородей, надо рыть канавы, да такие, чтобы корове их не перепрыгнуть. Лиза долго и недоверчиво глядела в ясные, виноватые, но искренние и горячие глаза Алексея.

— Ну ладно, — наконец сдалась она. — Канавы водой не унесет. Только кто их копать-то будет?

— Все будут. Я первый пойду. Каждому дадим заданье.

— Да как ты копать-то будешь? Ведь земля — не пух, на заступ надо ногой нажимать. А у тебя одна нога-то. На чем стоять будешь?

— Выстоим! — готовый на любое самопожертвование крикнул Алексей.

— Ты лучше о расценках подумай. За сколько метров трудодень начислять.

— Высчитаю. На себе проверю!

В какой-то горячке Алексей долго чертил профили канавы, стараясь найти самый надежный и малотрудоемкий вариант. Высчитывал ширину и глубину, думал, на какую сторону выбрасывать грунт.

Утром, прижимая к костылю загодя наточенный заступ, Алексей шагал в прогон. Выбрал место и, крикнув, всадил лопату в засохшую землю. Ленту дерна удалось снять довольно быстро. Дальше пошло хуже. Как ни приспособливался он копать, и стоя, и сидя, по лопата выгребала из ямы до смешного маленькие кусочки глины. Взмокла гимнастерка, мелкой дрожью билось от непривычного напряжения колено. Алексей понял, что ему не откопать яму в глубину по задуманному профилю. Но и отступать он не мог. Страшно ругаясь, он прыгал вокруг бесформенной ямки, высоко поднимал руки и снова вонзал заступ в неподатливую землю. Он не замечал, что проезжавший мимо Колька уже давненько смотрит на него. Колька понял все. Он спрыгнул с телеги и тихонько отобрал у брата заступ. Тот бешено вскинул на него глаза.

— Подожди. Я до дна докопаю, а там ты и сам ходко пойдешь, — успокоил его Колька.

Алексей отдохнул, пока младший брат споро бросал крупные комья, вгрызаясь вглубь. Вскоре канава двухметровой длины была готова. Алексей тяжело спрыгнул в нее. Теперь копать было легче: долбить почти отвесную стенку перед собой и выбрасывать землю наверх. Можно было и на стенки опереться. Это очень помогало.

За день он прогнал канаву на двенадцать метров и решил, что такой и должна быть норма для всех. Домой добрал еле-еле. Наутро с лопатами в прогон пошли женщины. Колька, работая в сторонке, выполнил свою норму еще до завтрака и уехал в поле. Алексей сидел дома. Все его тело было разбито и нестерпимо болело. Не мог поднять руки. Глянув в зеркало, не узнал себя: под глазом лилового огромная опухоль. Он послал Гешку в правление сказать Лизе, что на работу не выйдет: из скулы полез на волю осколок минны.

Опухоль быстро превращалась в багровый нарыв. Алексей рычал от боли, метался по пустой избе. Приковылял Кимряк. Посочувствовал, помолчал и вдруг потащил Алексея к себе домой. В законченной комнате, среди

обрезков кожи и войлока, старик готовил операцию. Прокалил в огне длинное шило, поставил перед Алексеем осколок толстого зеркала.

— Начинай!

Морщась и охая, Алексей прокалывал нарыв. Кимряк наблюдал с неподдельным интересом, помпунтно давал советы. Осколок вскоре упал на стол — маленький, с острыми углами, страшноватый кусочек светлого немецкого чугуна. По щеке Алексея сочилась сукровица. Бледный, он сидел, прислонив запрокинутую голову к стене, и кусал губы. И тут Кимряк вымахнул из-под лавки бутылку самогона.

— Давай для поправки!

— Оставь себе, — отмахнулся Алексей. — Не до этого.

Кимряк не успел удивиться, как под окнами раздался панический крик.

— Ээй! Кто в избах! Корова в новую яму завалилась. Выходите тащить, не то подохнет!

Кричала опять пастушиха Агафья. Глянув в окно, Алексей увидел, как в прогон сыпанула ватага ребятишек, за ними скорым шагом и с воем, словно на пожар, следовали женщины. Алексей и сам рванулся было к дверям, но не хватило сил. Его жгло какое-то нестерпимо обидное чувство, досада и злость перерастали в отчаяние. Он коротко взвыл и сразу смолк, уставясь на Кимряка глазами, полными страдания. А тот уже стоял перед ним, тоже страдальчески сморщившись, с полным стаканом.

— Давай, — прохрипел Алексей. — Все к чертям собачьим!

Хмель сразу оглушил его. Алексей потом со стыдом вспоминал, как он плакал, как вместе с Кимряком пел жалостные сиротские песни, как они обнимались и клялись в дружбе. Все это он старался забыть, но никак не шли из памяти слова старика: «В деревне надо жить спокойней, а ты смятен душой и неровен. Не жилец ты здесь. Уедешь, оставишь меня одного».

В тот вечер Алексей притащился домой уже темной ночью и без американского пиджака. Он подарил его Кимряку. Заметно носкуевшая за последнее время Наталья молча встретила Алексея.

Корову из канавы удалось вытащить. Но в деревне почти в открытую говорили, что на Алексея больше надеяться не стоит.

Поспевали хлеба... В эти-то дни и кончилась сразу во многих домах мука. Выручпло бы молоко, да не в каждом дворе корова. Больше надеялись на картошку. Как-то за обедом, когда уже совсем не было хлеба, Колька сказал для бодрости новую частушку:

Все картошка да картошка,
Да картовы колобки.
Довела меня картошка,
Что не держатся портки!

Шутка рассмешила. Но с нее сыт не будешь.

Мать пошла по деревне. Она сердилась на Кимряка за пиджак и требовательно постучала к нему. Кимряк, исхудавший и черный, сидел в переднем углу под образами. Хлебом в доме не пахло.

— Заплати хоть за пиджак-то, — осуждающе заговорила мать. — А то получается, что нищий у нищего портянку украл.

— Нечем платить. А его можешь забирать со всеми клетками, — отвернулся от нее Кимряк. — И без него помру.

Мать сняла с гвоздя пиджак и критически осмотрела его. Подкладки у пиджака не было.

— Куда подкладку-то дел?

— Это у Нинки с-медалью спрашивай, ежели отдаст, — осклабился Кимряк. — Я, чай, холостяк и жепский интерес уважаю.

— Бес ты старой, как тя земля носит! — заругалась Наталья. Она отнесла пиджак домой и намеревалась тут же постыдить Алексея за подкладку, по сына не было, хотя во дворе темнело. До полуночи ждала мать Алексея и не дождалась. Давно уже сладко похрапывали ребятишки, изредка метался на постели и в бреду покрикивал на лошадей Колька. Все это было привычно.

В полночь мать спустилась в подвал. И о хлебе она исстрадалась, и о сыне старшем. Недобрые предчувствия теснили ее душу. Она нащупала на полочке огарок тонкой свечки и зажгла его, поставив перед собой на завалинку. Развернула чистую тряпицу, которой была обернута древяная книга в деревянных обложках.

...В тот горький день, когда пришла похоронная на мужа, Наталья, уже много лет не ходившая в церковь и не

крестившая лба, отыскала в поеденной мышами бумажной рухляди Псалтырь. Открыла его дрожащей рукой па воина Семена и всю ночь читала с жаром и слезами мало приятные строчки, стараясь найти и, кажется, находя в них сокровенный смысл. Это облегчало душу. Утром она доверительно рассказывала об этом соседкам, приходившим разделить горе.

— Словно и похоронной не верю теперь,— прощивно шептала она.

— И не верь. Бог лучше нас знает.— И соседки просили Наталью открыть святую книгу на их воинов.

И вот Наталья снова открыла книгу.

— Господи, — истово выговаривала она вовсе не то, что было в книге.— Вразуми ты моего старшего. Весь-то он издергался. Отведи ты от него думы черные, наставь на путь истинный.

Долго читала замысловатые, по-доброму назидательные фразы из книги, застывала в глубоком смиренном поклоне. И вот загремело где-то вверху и раздался внятный голос. Глянула Наталья: перед ней сам Иисус благословляет ее троеперстием. А кругом сияние невиданное и музыка сладкая. Пала Наталья лицом на холодную землю, потому что считала недостойной себя зреть лицо божие, да и страх великий ее охватил. Пала и услышала явственно: «Терпи, раба божия, не возропщи душой. А за кротость твою будет хлеб детям твоим, и старший сын выйдет на путь праведный».

Снова загремело, зашелестело вверху. И словно кто-то крикнул издали: «В ларь загляни! В ларь!»

Все стихло. Не веря себе, Наталья долго не могла пошевелиться. Но потух огарок, из окошечка потянуло утренним холодком. Наталья разогнула спину, с трудом встала и поднялась наверх. Долго стояла перед ларем, страшась разочарования. Наконец подняла крышку и опустила руку в крайний сусек. На дне его была горка муки.

* * *

Утром в доме Семеновых запахло хлебом. Мать пекла лепешки. В избу заглянула набожная старуха Авдотья Кошкина, и Наталья, все еще находящаяся в горячечном возбуждении, тут же поведала ей о ночном видении. Авдотья упала перед ней на колени.

— Благослови! Святая ты, Натальюшка!

Наталья благословила. Гостя, крестясь и кланяясь, выпросила кусочек лепешки, поцеловала его и бережно завернула в тряпку, словно просвиру. А через несколько минут в избу залетела Левиха.

— Наталья! — с порога зашумела она. — Говорят, тебе муки бог послал. Что печешь-то? — И, не спрашивая разрешения, схватила пару горячих еще лепешек. — Точно, ржаные, нет пшеничные, — радостно лопотала она, жуя и обжигаясь. Проглотив вторую лепешку, Левиха столь же поспешно и суматошно бросилась вон.

Через полчаса у кладовой, где хранились семена для озимого сева, Левиха самолично таскала на весы тяжелые мешки. Долго считала. И вот по деревне понесся ее крик:

— В кладовой недостача! Пуд семян пропал. А у Семеновых лепешки пекут, сама пробовала!

Скоро к дому Семеновых Левиха подступала уже вместе с Лизой.

— Может, выменяли где? — с тайной надеждой спрашивала у Натальи Лиза.

— Что вы, это бог послал, виденье мне было! — растерянно объясняла Наталья.

— Бог по колхозным кладовым, что ли, ходит? — ехидничала Левиха.

И тут не выдержал Алексей. Одним прыжком подскочил он к председательшам и замахнулся костылем.

— Вон! — заорал он не своим голосом. — Башку разmozжу!

Левиха опрометью кинулась в дверь. За ней тихо вышла Лиза. А возле крыльца их уже поджидал всклокоченный Кимряк.

— Я воровал! — с надрывом выкрикнул он. — Судите меня!

— Зачем же ты? — с укором спросила Лиза.

— Ребятишек стало жалко ихних! Защитника-фронтовика! Да и сам... Судите! — отчаянно размахивал руками старик.

Но виноват был не один Кимряк.

...Алексей в одно время с матерью тоже искал по деревне хлеба. Сперва заглянул к Лизе. Председательша ужинала, на столе стояли картофельные колобки.

— Али па войне-то лучше кормили? — пошутила она.

— Ко всему привык,— грустно улыбнулся в ответ Алексей.— Но там один, сам за себя, а тут — семья.

Договорились, что как только в колхозной кассе появятся деньги, Алексей возьмет аванс до пенсии, съездит за хлебом в город.

— Поди к Тосе, у нее получка каждый месяц,— посоветовала Лиза.

В доме Тоси огня не было, но Алексей услышал приглушенные голоса в огороде и толкнул калитку. Она отворилась беззвучно. Алексей двинулся в глубь двора и в пяти шагах от себя, под березой, разглядел американский пиджак, а выше его Тосин затылок. Пиджак был накинут на Тосины плечи, и широкие Колькины ладони лежали на них. Раздался давно забытый Алексеем звук поцелуя.

В два прыжка выскочил он с подворья и понесся вдоль улицы. Нестерпимо колело в груди. Обида на брата? Нет. Скорее на самого себя. Трудно дышать. Остановился и утер со лба внезапно выступивший пот. Грузно обвис на костылях, зажмурился.

— Может, зайдете, Алексей Семенович? — услышал он голос Нинки-с-медалью. Она высунулась из окна и извиняюще улыбалась.— Чего стоять-то долго? Люди увидят.

Алексей не сразу сообразил, о чем она беспокоится, скрипнул зубами и поковылял прочь. Пришел к Кимряку, попросил самогона.

— Нету, брат,— горестно развел руками тот.— Голодуха.

Долго молчали.

— Тоже есть-то нечего? — полюбопытствовал Кимряк.

— Нечего.

— Могу выручить на денек-другой.

Алексей подался к нему всем телом.

— Не себе, ребятишкам.

— Вот-вот, и я то же говорю,— спокойно ответил Кимряк, отстегивая липку, в которой Алексей, глазам своим не веря, увидел увесистый мешочек с зерном.

— Где добыл?

— Не твое дело. Бери... За подкладку американского пиджака. Подкладку-то я, грешным делом, пропил.

Ночью инвалиды на домашних жерновых намолотили муки, и Кимряк же надоумил Алексея тайком высыпать ее в ларь.

В сельсовете сидели обе председательши. Лиза уговаривала Левиху и не давала ей звонить в милицию.

— Кого под суд-то отдашь, подумай.

Левиха еще долго кричала, но все тише, тише и вдруг со слезами разоткровенничалась:

— А ты думаешь, я не воровала? Ох, всего было, как триста верст от немца бежала,— вспоминала она, вытирая поблекшие глаза.— Давай уж мы их постыдим на собрании да взыщем потом.

— Вот это правильно! — сразу согласилась Лиза.— Да скажем бабам, чтобы не разносили слухи до других деревень. Поймут бабы-то.

Обе председательши еще долго сидели в сельсовете, не зажигая лампы. Разошлись домой с доброй печалью на душе.

Ничего не знали об этом разговоре Лизы и Левихи в доме Семеновых. Да и не стало бы легче, если и узнали бы. С Натальей стряслась беда: она замолчала, словно никогда и не умела говорить, и еще у нее стала крупно дрожать голова.

— Что с тобой, мама! — кричал Алексей, терзаясь новыми, незнакомыми ему и, казалось, совсем невыносимыми муками. Но с лица матери не сходила маска горького удивления. И лишь глаза ее горели неистово, выдавая напряженную работу духа. Но и глаза порой казались сумасшедшими.

Молчал и Колька, хмуро поглядывая на брата. Он не упрекал его вслух: и так много крику было в доме за последние дни.

Наталья молчала. Она не осознавала, что с ней произошло что-то неладное. Но странное безразличие охватило ее ко всему, кроме детей, кроме Алексея. И она думала, думала, слыша, как болит голова. Она твердо верила, что и не надо ни о чем говорить, пока не придет ей на ум единственное решение — как быть с Алексеем.

«И до чего же не везет ему, господи, — то ли молилась, то ли рассуждала она.— А что дальше-то будет при его сердце горячем, израненном? Какие ждут его испытания? Ведь что ни сделает он шаг по деревне, то и боль. Да одна хуже другой. Господи! И ведь не от глупости, не от злого умысла все это у него, а от доброты души».

«А ведь как у него все ладно получалось, когда он до войны-то не дома жил, учился? — с удивлением вспоминала Наталья. — И пошел бы он по культурной жизни городской не в последнем ряду, кабы не война эта. К учению у него голова способная. Да и сейчас не ушли еще годы его. А учиться можно и безногому. Отправить, что ли, его? Только как он будет там по чужим углам, без матери? Все сердце выболит... А здесь насовсем пропадает. Может, и забыл бы он там за учебой обиды деревенские. Может, и жену найдет добрую. Но не думает он об этом своей головой, а из дому его не выгонишь».

И еще, еще думала Наталья, сложив на коленях иссохшие руки и ничего не видя перед собой. Просидела она так день и ночь. А к утру зашевелились ее губы и она встала, принялась растоплять печь.

Но не видел этого Алексей. Не было его в эту ночь дома. Еще в сумерках вышел он к загороду, добрал до заднего забора, привалился грудью к жердям, зажмурился.

— Все кончено, — думал он. — Не гожусь никуда. А с позором заслуженным как в глаза глядеть людям? Полный крах потерпел отставной лейтенант. На мирном фронте. Не сумел — ну и расплачивайся.

Горячие волны приливали к голове Алексея, наполняли его злой решимостью.

Мышцы его одеревенели, и он долго ковылял в тот угол загородки, где был схоронен пистолет.

Вот оно, тайное место. Но почему нет сил заставить себя наклониться? Слабак! Умел озориться — умеи и смыть позор, не будь обузой. И пальцы Алексея заскребли по луговине, отыскивая тот квадратик дерна, который еще не успел прирасти к земле памертво.

— Не дури! — раздался над ним приглушенный голос Кольки. Алексей рывком выпрямился, бешено глянул на брата. Слов не было.

— Не ищи, — спокойно сказал Колька. — Я перепрятал.

— Ты что! — заорал Алексей. Он схватил брата за рубашку, рванул на себя, слыша, как затрещала ткань. И не устоял. Колька тяжело упал на него, обнимая руками, прижал лицо брата к сырой траве, загнул его дергающиеся руки за спину.

— Поостынь, — дрожащим от напряжения голосом говорил Колька, торжествуя победу. — Не отпущу, пока не

покаяешься, что ничего над собой не сделаешь, что одумался. Всю ночь буду держать. Не вырвешься.

Алексей и сам понял, что не вырваться. Но молчал.

— Пусти, — наконец прохрипел он.

— Давай слово.

— Черт с тобой. Ладно.

Колька поднял брата и все еще придерживал его за руки, чтобы не унал. Алексей отдышался и рывком высвободил руки.

— Дубина! — сказал он. — Собрался с силой. Локти вывернул.

Он поковылял к дому и сел на старое бревнышко у поленницы. Колька примостился рядом. Долго курили.

— Эгоист ты, — ругнулся Колька, затапывая окурок. — Только о себе жалобно думаешь. Мать измучил. Ну стрельнулся бы ты и чего бы доказал? Еще бы всем тоньше стало. Офицер!

— Перестань, — попросил Алексей. И Колька замолк. — Мне бы надо какое-то дело, с которым я справлюсь...

— Так ведь справлялся счетоводом! Работай.

— Не то. Менять жизнь надо. А куда я годен?

— Чудак! Ты же один во всем сельсовете в радио понимаешь. Вот и дело. Поезжай в город. Там какие-то радиоузлы есть. Примут.

* * *

Лето было на исходе. В деревне намолотили свежего зерна. Повеселевшие хозяйки метали из печей румяные подовики. В заулках плавал аромат только что испеченного хлеба. Но деревню занимало другое — уезжал Алексей.

Теперь он не показывался на улице. И должность свою уступил Кимряку. Но вечерами они продолжали встречаться.

— Опозорились мы, верно, — рассуждал Кимряк. — Но это можно пережить. Не мы первые... Совесть меня не терзает. На жизнь я гляжу по-стариковски и многое вижу. — Кимряк был доволен, что у него есть внимательный слушатель, и философствовал. — Вот и ты, Алексей, человек хороший. Но горяч по молодости и своего призвания не понимаешь. Главная закавыка — не ко двору ты здесь. Ты уж разные города видел, в Европу заглядывал, аттестат зрелости имеешь. И как же ты не поймешь, что

другая тебе судьба написана! Здесь ты чужой и мало полезный, как твой пиджак американский. Пиджак скоро истлеет — дрянь материал, жулик его делал. А ты хоть и покрепче его, но не ту дратву в руки берешь, не с того краю голенище тачать начинаешь. Тебе бы с такой молодежью жить, где всякие теории, стихи, учеба. Ведь и такие люди для жизни нужны. Понци-ка себе место да поезжай. Фронтovníку везде содействие будет.

Скрутив новую сигарку и увидев, что она получилась удачной, Кимряк ударялся в новые рассуждения.

— Ты вот мнил себя спасителем для деревни. А она и не погибала. Она сама себя спасет, если что. А ты чуть спотыкнулся, так был бы у тебя пистолет, так бы его сразу к виску и приставил. А и всего-то беды: корова в канаву упала — так они каждый год где-нибудь вязнут или заваливаются; хлеба на неделю не хватило — а в старое время месяцами зубы на полке держали и многие даже мерли с голоду... Вот ваш Колька подрастет — готовый деятель колхозного движения будет. Он тутошний, а ты — нет, хоть вы и родные братья... И что еще хорошо: невозможно у нас честному человеку пропасть. Вот мне бы давно пора сгинуть, не коптить неба, а я жив и нередко весел. И ты бы мог пропасть, а не пропадешь. Никак тебе не пропасть, вытащат тебя за уши, на ноги поставят. Конечно, если и сам к этому стремление имеешь. Это все оттого, что власть у нас своя. Все понимает. Лизка — золото неоцененное. Левиха хоть и дура взбалмошная, но тоже внутри душу имеет. А в городах, само собой, не дурнее их люди у власти поставлены.

Алексей слушал его и тихо радовался. Уезжать он решил твердо и теперь выбирал только место, куда ехать. Остановился он наконец на самом близком от деревни большом городе — на Ленинграде. Мать уже починала вечерами его немудрое барахлишко и вела тихие беседы.

— Ты уж там не горячись. Не ровен час — под какой трамвай угодишь, там ведь, поди, много трамваев-то, — как ребенку наговаривала она. — Да деньги-то береги. Разве нам сахарку пришлешь. Давно уж у нас не было сахару-то.

Беседа тянулась долго, и Алексей с любовью глядел на сухонькие, но еще проворные руки матери.

— А еще я расскажу тебе из старого, — продолжала паневно мать. — Раньше-то старший сын почесть из каждой семьи уходил в Питер в мальчики. Разные ремесла

там постигали. А потом и младших братьев за собой тянули и тех в люди выводили. Зато уж как приедут в деревню на праздник на тройке с бубенцами, гостинцев все навезут, ланпасей, пряников. Хорошие были обычаи.

Мать подбила под пиджак новую подкладку. Но, прощаясь на разъезде, Алексей отдал заокеанский подарок Кольке.

— Он один на всю деревню прислан. И ты имеешь на него больше прав, чем я, — уверял Алексей брата. — Да и везет тебе в нем на любовь.

* * *

Вернулся он неожиданно скоро, недели через две. Но его было не узнать. Все те же застиранные солдатские галифе и гимнастерка сидели на нем не по-деревенски лихо. Он еще больше исхудал, но весь светился радостным азартом. Рассказывал, что попробовал наудачу и сразу поступил в институт, все экзамены выдержал на радио-факультет. Теперь приехал, чтобы посушить картошки на первый студенческий семестр. Мать изо всех сил помогала ему.

И снова Алексея провожал Колька. Мать стояла на крыльце, и слезы ее не были тяжкими. Братья прошли за городку. Алексей вскочил, как в день возвращения из госпиталя, на изгородь, еще раз оглянулся. И вдруг захотал.

Рядом с грядкой гороха стояло пугало, одетое в неузнаваемо расползшийся американский пиджак. Алексей соскочил с изгороди и подошел ближе к пугалу.

— Это я еще раз в нем под дождь угодил, — усмехнулся Колька. — Бумага — бумага и есть.

— А воротник-то еще крепенький! — смеялся Алексей, поддевая пиджак костылем.

— Это оттого, что мать в него дерюжку домотканую вшивала, — пояснил Колька. — А то бы и воротнику хана.

Фигуры братьев недолго маячили на проселке. Налетел ветер, закрыл дорогу пылью. В огороде обиженно зашелестел созревший горох. И пугало протянуло обтрепанные рукава в ту сторону, куда ушли русские обладатели американского пиджака. Но порыв был слабым, и рукава безжизненно повисли.

А на задворках правления, все еще глядя вслед братьям, сморкался и растирал по щекам слезы одинокий Кимряк. Что-то непонятное приключилось с ним в последнее время. Пить перестал, рьяно набросился на счетоводные дела... Но вдруг он встрепенулся и поспешил к сельсовету. Над деревней неся призывный крик Левихи:

— Бабы! В сельно чертову кожу привезли. Да и много! Всем хватит!

Левиха не повторяла своего зова. Но и он, единственный, пробудил в бабьих душах надежду. И на мгновение была заглушена мрачная музыка надвигающейся на деревню долгой и неласковой осени.

Содержание

Повести

Под одной крышей	5
У самой железной дороги	93

Рассказы

Привычка	173
Федька	187
Американский виджак	195

Владимир Степанович Степанов

У САМОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Повести и рассказы

Редактор **Ю. Бондарев**
Художественный редактор **Б. Мокки**
Технический редактор **Л. Дунаева**
Корректоры **Н. Саммур, Т. Храпонова**

Сдано в набор 18/II-1976 г. Подписано
к печати 25/V-1976 г. А12685. Формат изд.
84×108^{1/2} мм. Бумага тип. № 1. Печ. л. 7,0.
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,93. Тираж
50 000 экз. Заказ № 1085. Цена 59 коп.

Издательство «Современник» Государст-
венного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, полиграф-
фии и книжной торговли и Союза писате-
лей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграф-
прома Государственного комитета Совета
Министров РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, г. Элек-
тросталь Московской области, ул. им. Те-
вояна, 25